

ЗОЛОТАЯ КЛАССИКА



ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
ОРЛОВ
ТРУСАКИ
И СУББОТНИКИ



Владимир Викторович Орлов
Трусаки и субботники (сборник)

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=315122
Трусаки и субботники / Владимир Орлов: АСТ, Астрель; Москва; 2010
ISBN 978-5-17-062601-4, 978-5-271-25563-2*

Аннотация

В книгу классика современной отечественной прозы Владимира Орлова вошли как уже известные читателю произведения, принесшие автору широкую известность («Трусаки», «Субботники», «Бубновый валет»), так и новое эссе «Лоскуты необязательных пояснений, или Хрюшка улыбается...», не издававшееся ранее.

Содержание

Лоскуты необязательных пояснений, или хрюшка улыбается...	4
Трусаки	23
Субботники	32
1	32
2	33
3	38
4	41
5	42
6	49
7	50
8	52
9	54
Бубновый валет	56
1	56
2	58
3	61
4	65
5	72
7	77
8	86
9	89
10	94
11	99
Конец ознакомительного фрагмента.	101

Владимир Орлов

Трусаки и субботники (сборник)

Лоскуты необязательных пояснений, или хрюшка улыбается...

Ледяные узоры, каких в Москве в окнах домов ли, трамваев ли, где некогда мёрзли в шубах и валенках, давно нет, и они неизвестны нынешним детям, я увидел проснувшись и разлепив веки в чужом доме. Прямо перед моими глазами между оконными рамами на зиму ради тепла была уложена вата, день выдался безупречно солнечный, и на белизне ватного валика золотом, серебром или неведомыми мне самоцветами играли в сказку ёлочные блёстки и обрывки новогодней мишуры. А на уличном стекле цвели ледяные узоры. Мать сидела за чужим столом, тихо разговаривала с плохо знакомой мне женщиной.

– Где я? – спросил я. – Где мы?

– У Александры Михайловны, – сказала мать. – Ты не помнишь вчерашнее?

Я вспомнил. Нас бомбили.

В эвакуацию нас с матерью отвезли пароходом в посёлок Юрино Марийской республики, двести километров ниже Горького. До войны там на берегу Волги был Дом отдыха, а прежде, до Революции, – дворец одного из Шереметевых.

Вчера нас бомбили.

На днях выпал снег, зимний, крупчатый, покрыл землю от дворца и до Волги, завалил и пустые каменные ванны шумевших некогда фонтанов, и можно было строить ледяные крепости и рыть пещеры для укрытия северных людей. Трое – я, Севка, оба пятилетние, и отважный вожак наш Юрка Жеренков, взрослый, семилетний, – ощущали себя папанинцами, и выкладывали кусками сжавшегося уже снега (завтра предстояло поливать их водой) стены ледяного дома.

И вдруг вспыхнул свет.

Временный приют беженцев из Москвы тут же превратился и впрямь в двухэтажный замок с боковыми башнями, куда на бал вот-вот должна была прибыть преображенная феей Золушка. Год с лишним мы жили со свечами и керосиновыми лампами. В праздник Революции поселковые власти решили обрадовать и себя, и доставленных к ним на сохранение москвичей электрическим светом. В Москве в квартирах были обязательны бумажные перекрестья на окнах, для сбережения стёкол, и чёрные, из плотной бумаги шторы от вражьи ловцов света, пусть и рождённого огоньками свечей. И вот в Юрино, в Марийской тиши, километрах в четырёхстах к востоку от Москвы, напоминанием о довоенной жизни над Волгой возникло сияние.

А мы знали, что матери наши готовят нынче давно забытое и от того волшебное лакомство – мороженое. А потому, бросив ледяное строительство, поспешили в замок.

Тогда, уже в замке, и был услышан в воздухе над нами гнусный металлический звук, похожий на вой.

Взрыв, грохот, сотрясение вечного как будто бы здания вызвали крики, истерики женщин, знакомых с гнусным воем («Юнкеры!»), и приказ: всем спускаться в подвалы. И прозвучало: «Бомбёжка!»

Поначалу нам с приятелями было забавно (хотя и обидно – обещанного мороженого мы не получили), ну, бомбят, ну и что, я, повторюсь, пятилетний, начал хвастать, мол, видел уже две бомбёжки. И ведь, действительно, видел. При посадке нас на пароход бомбили

Москву, где-то недалеко от пристани, и отход парохода был нервно ускорен. Потом, когда Окой вплыли в Волгу у Горького, в черноте ночи видели с палубы багровые огненные столбы выше по реке, взрослые говорили: фрицы бомбят автозавод. Теперь же в Юрино очень скоро детские наши (впрочем, в войну дети имели иные возрасты) похвастывания сменились страхом. Прежде мы издали наблюдали, как падали бомбы и что-то горело, и это было зрелищем. Сейчас же бомбы падали прямо на нас.

Подвал, как и чердак замка с уголками подкрышья, мы знали лучше взрослых. Изучили причуды башен с витыми внутривитыми лестницами. В камнях подвала пытались отыскать замурованные двери подземных ходов к Волге. Не могло их не быть. Зачем было горюдить замок без тайников с кладами?.. Теперь мы сидели в подземельях при свечах, детишки поменьше – на коленях у взрослых, то есть у матерей и подростков. Сводчатые потолки и прежде казались нам враждебно-мрачными, теперь же колебания вытянувшихся огоньков свечек пугали злыми видениями невидимого, того, что было в небе и в нашем убежище от войны. А убежище это, дворец Шереметевых, трясло, оно то и дело вздрагивало, вызывая ужасы, в частности и от неизвестности любого следующего мгновения. Не убьёт ли нас, не обрушатся ли на нас чёрные камни, не засыпят ли они нас навсегда, я прижимался к матери, самое страшное было остаться без неё. «Пять... шесть... семь...» – считала мать. «Двенадцать... – было вышептано ею. И все затихло. И более не дергались огненные столбики свечей. „Спи, – сказала мать. Он всё высypал...“

И я заснул.

А проснулся в чужом доме и увидел сияние ледяных узоров на стекле с разноцветьем сказки на уложенной между рамами ради тепла вате.

Ещё неделю все эвакуированные ночевали в домах юринских жителей, приютивших нас. Выяснилось, что на Юрино было сброшено именно двенадцать бомб. Немецкого лётчика называли дураком или неудачником. Метал он на нас бомбы 7-го ноября сорок второго года. Шли бои под Сталинградом. Немец, видимо, заблудился. А увидев в черноте земли засиявшее под ним здание, посчитал его госпиталем, и сбросил бомбы. И все они легли между нашим убежищем и Волгой...

Но может тот заблудившийся лётчик и не пожелал гибели тварей, ему неведомых...

Одна бомба из двенадцати все же угодила в двухэтажный дом на главной, верхней улице посёлка Юрино, пробила крышу и свалилась на булыжник мостовой, но и там не взорвалась, а подскочила и улеглась на деревянном балконе второго этажа. И замерла...

Упокоившуюся на балконе бомбу (я помню тот деревянный дом, он будто из «Волги-Волги», увиденной впервые в Юрино, к нему, наверняка подъезжал с бочкой водовоз дядя Кузя, на первом этаже его радовали две витрины, одна – парикмахерской с мастером в усах и с розовой резиновой грушей в руке для освежения одеколоном, и вторая – гастронома, с тремя поросятами в бабочках и белых колпаках, но поросьятам нечем было торговать), так вот, балконную бомбу взрывали на лугу дня через три призванные в тыл специалисты, а по весне после половодья в оставшихся у Волги воронках мы ловили рыбу, мелкую и крупную...

Долгие годы, я уже и студентом стал, возобновлялись во мне в снах страхи одной лишь ночи на берегу Волги и превращались в видения кошмаров погибельно-ледяной жизни на пространствах не самого великого небесного тела... Конец света...

Но каково было детям Ленинграда? Или неизвестных нам, уберегаемым в благополучном, а порой даже и сытом, с картошкой, тылу, детям других городов и селений, где земля сотрясалась не в один лишь праздничный день 7-го ноября сорок второго года? И каково было в войну взрослым?

Для меня (время тогда для всех делилось на «до войны» и на войну) обещанием времени «после войны» стала междурамная укладка ваты с солнечно-ёлочными взблестками чудес.

Конец света, о котором я тогда, слава Богу, не имел понятия, отменялся.

Игрушек после Победы у московской ребятни имелось мало. Мальчишкам было проще. Рядом с нашим домом на товарном дворе Рижского вокзала, куда свозили битую трофейную технику, можно было добыть, что хочешь. Для игр и на обмен по интересу. Мы добывали там шмайссеры, кинжальные штыки с бороздками для слива жидкости, фашистские ордена и деньги, они были удивительно невесомые и будто покрытые пепельной пылью. Но разве можно было посчитать их игрушками? Это были вещи взрослых. И они напоминали о крови. Двоюродный брат мой Лёва Барбин в Яхроме, где немцы стояли хозяевами десять дней, в игре или в опыте с чужим оружием был ранен – оторвало пальцы левой руки, а двоих приятелей его разметало взрывом по берегам речки Яхромы. Я же лишь из-за трофейно-табачных искушений вынужден был бросить курить в семь лет. И на всю жизнь.

А потому нам, я ещё не пошел в первый класс, то есть иждивенцам, (выдавали на нас иждивенческие продовольственные карточки) от обладателей рабочих карточек, родителей, редко, но перепали и настоящие детские игрушки. Я получил (сам выбирал в Сретенском универмаге на углу Колхозной площади) игрушку «Салют». Состояла она из двух элементов. Для пальцев, так объяснили, предназначалась гашетка с пружиной. Нажимая на гашетку и беспокоя пружину, можно было заставить кружиться с треском (звуки при салютах были обязательны) верхнее колесо игрушки, устроенное из цветowych слюдяных клиньев, при этом оно каким-то своим острием или иглой свербилло нижний наждачный камень и выбивало искры (как у точильщиков ножей), а под поспешными кружениями слюдяных клиньев искры эти превращались в салютные гроздьи и вызывали ощущение праздника или даже собственной сказки, лежавшей до поры до времени в кармане обязательных шаровар из чёртовой кожи и принадлежавшей только тебе. Я помню многие салюты, особо вместились в память апрельский салют взятия Одессы, было тепло и слякотно под ногами, на небе и в лужах возникали цветочные чудеса, ракетные установки палили в воздух рядом, на площади Коммуны, у ЦТСА, нашу Одессу освободили, и было хорошо... Картинки менялись и в трубках калейдоскопов, но там стекляшки были отчуждённо-холодные, не из жизни, без смыслов и без нужды укладывающиеся в любые сочетания, они не волновали. А вот нажимы на трещотку «Салюта» вызывали всё новые и новые видения и фантазии мальчишки с Мещанских улиц. Будто бы и я брал Одессу. Будто бы и я поднимал моряков штурмовать Мамаев курган...

Однажды мать на Рижском рынке выменяла кипу газет (в доме они имелись ещё и с довоенной поры, а торговцам в рядах для кульков и прочих упаковочных дел были необходимы) на буханку хлеба. Не помню, чёрного или белого. Не важно.

Далее буханка хлеба отправилась к Большому театру. Там буханка была предложена чудотворцам, у кого имелись лишние билеты. А может быть, мать заранее договорилась об особенностях культурного обмена. Так или иначе я попал в Большой театр. Со слов взрослых я знал, что два года назад театр стоял замаскированный (мать моя, Мария Сергеевна Барбина, кстати сказать, на фабрике «Военхот» вязала в ту пору маскировочные сети для танков и пушек) и тем не менее пострадал от бомб, хорошо хоть почти все артисты его были увезены тогда в запасную столицу Отечества Куйбышев, то бишь Самару. Буханка же сорок четвёртого года обеспечила нам места на спектакле «Щелкунчик». Я долго хранил программку спектакля. Там было указано: «Маша – М. Плисецкая (дебют)».

Так в мою жизнь вошли Большой театр, Петр Ильич Чайковский, великий чудесник Эрнест Теодор Амадей Гофман, Майя Михайловна Плисецкая.

А через тридцать с лишним лет по причуде судьбы, в какой Плисецкая оказалась как бы связной, случилось некое воздушное соприкосновение с моими текстами Марка Шагала.

И было в военном детстве ещё одно волшебство. «Синяя птица» во МХАТе.

А в Большом театре тогда я прожил сказку. Или – прожил в сказке. Недавно купил диск с записью музыки «Щелкунчика» Лондонским оркестром и услышал музыкальные картины, по тричетыре минуты звучания – «Начало волшебства», «Сцена в сосновом лесу», «Волшебный замок», другие, возможно, не исполненные в сорок четвёртом, будто бы не танцевальные, а симфонические, и снова оказался в мире, без путешествий в который трудно было бы существовать в мире с бомбёжками, ожиданием похоронок, продуктовых карточек, морозно-ночных очередей с чернильными номерками на ладонях, бумажными перекрестьями на оконных стёклах.

Через двадцать лет я привёл, в предчувствии праздника, на балет «Щелкунчик» сына. Рациональный Ю. Григорович изготовил из детской сказки холодное, с блёстками, товарное изделие для продажи на валютном рынке. Мне перед сыном было стыдно. Балет (как жанр) он не взлюбил, а «Щелкунчика», как и другие сочинения Гофмана, в руки более не брал.

... Чуть не забыл о роскошном (цветном!) фильме моего детства – «Багдадский вор»! С джинном из древнего сосуда. С шалопаем, смешным, сметливым, смуглым мальчишкой, этим самым багдадским вором, не помню, как его звали, с колдуном и злодеем – визирем. Конечно, я ходил и на другие фильмы, в особенности с участием Дины Дурбин и моей великой однофамилицы Любви Орловой, на запрещённые тогда (из-за запрета на джаз) «Весёлые ребята», неслись мы с ребятами нашего двора (имели для этого по десять копеек) и на каждый показ «Острова сокровищ» с Билли Бонсом-Черкасовым и бочками рома, но и «Багдадский вор» тут же призывал нас к себе...

К чему я это всё клоню? А вроде бы подбираюсь к необязательным пояснениям. К простейшей информации. Мол, с детства любил сказку, чужую фантазию и при любых случаях принимался фантазировать сам.

А по воскресеньям (я уже был первоклассником) отец читал мне «Дон Кихота»...

Он работал в журнале, домой приезжал в шесть утра (Сталин ночью не спал, все мы его бдениями должны были быть защищены от вражеских сил, а они зверели, чуткий дядя-текстовик с усами дальновидного кота сообщал в песне хора Пятницкого на музыку композитора Захарова: «Но опять спокойно спать не дают старикам и детям. Все, кто грозит нам войною, будут за это в ответе!»). А потому, когда я приходил из школы, отец был на работе. Неделями мы не видели друг друга. Однажды в играх по взятию Кёнигсберга я прокувыркался по лестнице до первого этажа и сломал нос. Нос распух до ушей. Мать не показывала меня отцу, возвращавшемуся с работы, мол, уже спит, пока не спала опухоль. Так он и не узнал о моём лестнично-штурмовом приключении. Позже, правда, удивлялся, отчего у меня нос с горбинкой...

А по воскресеньям читал мне «Дон Кихота». Ничего не объясняя. Ничего не сопоставляя с событиями и людьми дня летящего. Просто читал. И всё. «Дон Кихот» был в двух томах, знаменитого издательства «Академия», с картинками. И ещё отец доставал для меня из шкафа томики Гоголя, скромные, коричневые, на плохой бумаге...

Дон Кихот. И Гоголь. Про Гофмана я уже сообщил.

В посещениях моих Германии я старался побывать в местах, связанных с тремя личностями, для моей натуры чрезвычайно важными – Гёте, Бахом и Гофманом. В Берлине нас с женой селили обычно в гостинице «Беролина»...

– Володя, – сказала мне умная дама, и тогда умная, и теперь умная, прочитав интервью со мной в «Литературной газете», – никогда не рассказывайте читателям, из какого сора... Зачем им знать об этом?..

Но что есть сор? Не сор ли вся моя жизнь? Для меня – не сор. Не сор. Нечто иное, существенное, названия чему я дать не в силах. Да и необходимо ли это название? Не сведет ли оно радуго к полоскам спектра?

Итак, Берлин. Отель «Беролина». Утром предстояло садиться в поезд и возвращаться в Москву. Не спалось. Я выходил на Александрплац и пустой Унтер ден Линден, мимо королевских дворцов пруссаков, разбитой Мариенкирхе, острова Музеев с Пергамским алтарем, брёл к Бранденбургским воротам. Никого – ни прохожих, ни влюбленных под липами, ни полицейских. Одни лишь кролики, шнырявшие там и тут, были свидетелями или наблюдателями моих блужданий, братцы их шныряли в ту пору и в Веймаре, по берегам Ильма, вблизи особняка тюрингского вельможи Иоганна Вольфганга Гёте. Кролики сопровождали меня до бункера Гитлера, добросовестно засыпанного и заросшего травкой. Объяснимые фантазии возникали во мне. И я знал, что где-то поблизости свои берлинские годы провёл советник юстиции, по мнению многих, нелепый неудачник, среднего сорта композитор, чудной писака, охотно посещавший кабачок Лютгера и Вегнера, герр Эрнест Теодор Амадей Гофман. А на днях я раздобыл его адрес – Траубенштрассе возле Жандармской площади и Жандармского же рынка. Невдалеке Гофман поселял и своих персонажей, доктора Дапертутто, в частности. Ну, и естественно в квартире на Траубенштрассе проживал «весьма мудрый и глубокомысленный» кот Мурр. «Который, – сказано Гофманом, – в сей момент лежит подле меня на мягком стуле и, как видно, предаётся самым невероятным мыслям и фантазиям, поскольку беспрестанно мурлычет»... От Унтер ден Линден в ночном своем блуждании я вышел к Жандармской площади (в пору ГДР из деликатности она называлась Театральной), и было найдено мною место обитания кота Мурра и его гениального хозяина. Сразу же вспомнился рисунок Гофмана «Спасение прусского государственного кредита стрельбой по горящему парикю». Был случай. Загорелся театр «в 15–20 шагах» от дома Гофмана, загорелась крыша его квартиры, горящие парики из реквизита театра полетели в сторону банка, но один из них был сбит выстрелом гвардейского стрелка... Сейчас же в моем сознании (или в реальности?) возникли несущиеся над крышами парики, стрелок, палящий в небо из чердачного окна, здание банка, не к кризису будет сказано, и любопытствующая физиономия отвлеченного от глубоких мыслей и фантазий кота Мурра...

Но надо было возвращаться в «Беролину».

Создателем детективного жанра узаконен Эдгар По. За девятнадцать лет до сочинений Эдгара По Гофман написал повесть «Мадмуазель Скюдери» из криминальной парижской жизни, по которой нынче можно снимать боевик в сорок серий. А в Париже Гофман не бывал.

Воображение. И дрязг жизни. Безупречная формулировка Николая Васильевича Гоголя, воспитанного Нежинским лицеем и чудесными представлениями о персонажах мироздания восточных славян, проживавших в тиши украинских ночей.

В семидесятые годы прошлого века в моду вошли интеллектуальные тесты. Один из них, предложенный «Неделей», с шестидестью двумя вопросами, я от нечего делать решил заполнить. Искренне отвечал, не врал, старательно подсчитывал очки, и вышло: «Особенность природы (моей) – отсутствие воображения». И следовали советы, как себя от этой беды избавить.

А дрязг-то жизни? Как избавиться от него? Никак. Да и не надо было избавляться. Не получилось бы.

Я уже не помню, Хрюшка улыбалась или смеялась. Спросил внучку Катю. Она вроде бы читала в детском саду историю симферопольской Хрюшки. Катя сидела у компьютера, в который раз одолевала «Косынку», брови сдвинула, какая такая Хрюшка? И вдруг опечалилась, вспомнила. Это очень грустная история, дед, очень, очень грустная. Жила сама по себе свинья и у неё ничего не было из того, что было у других, и никто с ней не дружил. Но потом что-то случилось, с ней стали дружить, она начала улыбаться и в конце концов рассмеялась. Я успокоился. Мне-то запомнилось, что Хрюшка улыбалась. Имелись основания судить, что она и теперь улыбается, и этого было достаточно...

В шестьдесят девятом году я ушел из газеты, прожив в ней десять лет. Пришлось писать заявление, привычное для той поры: «Прошу освободить меня от занимаемой должности в связи с переходом на творческую работу». Смешно. А в газете, стало быть, – не творческая работа? «Комсомольская правда» была тогда порядочной газетой, старалась быть честной и бескорыстной. Уход из газеты в свободные художники именовался – «на вольные хлеба». А в необходимых анкетах того времени личности всех так называемых свободных или вольных хлебов обязаны были заполнять пункт: «социальное происхождение» или «социальное положение». И все мы, неважно из каких союзов – писательских, киношных, театральных, писали: «служащий». А кто же ещё? Не рабочий ведь и не колхозник. Служащий.

Возможно, что камер-юнкер Пушкин был служащий. И Гофман с Гоголем – тоже, если, конечно, им приходилось заполнять анкеты с пунктами.

Табель о рангах предполагал, что и человек так называемой свободной профессии должен служить или обслуживать. Свобода же и вольности его состояли в праве не ходить куда-либо на работу. Но если билета одного из «творческих» союзов у тебя не было, ты мог быть объявлен тунеядцем и отправлен, как Бродский, на трудовое поселение...

У одного из самых почитаемых мною художников из круга дрезденских романтиков и современника Э. Т. Гофмана Каспара Давида Фридриха есть картина «Путник над морем тумана». Стоит человек на прибрежной скале, застыл, перед ним воды и рифы, скрытые туманом, он вроде бы спокоен и просто созерцает, но мне-то понятно, какие страсти могут сейчас (и вечно) быть сокрыты в явленных нам туманах и в душе застывшего будто бы путника. В трактовке картины искусствоведа Матильды Батистини я нашел слова: «Путник – центральная фигура романтической поэтики; это путешественник, не стремящийся к определённой цели».

Героиня Любови Орловой в «Светлом пути», ткачиха и стахановка, возносила над собой и над страной «Марш энтузиастов», и были в марше слова: «Мечта прекрасная, пока неясная, зовёт нас за собой!» В пору Сулова-Фурцевой-Демичева услышал исправление марша: «Мечта прекрасная, всегда нам ясная...»

Я же ушёл в свободные художники именно в эту самую пору путником Каспара Давида Фридриха, то есть «без стремления к определённой цели»...

То есть смутно-туманная цель у меня, естественно, была. Освободиться от оков и приёмов журналистики и научиться овладеть инструментом профессии – русским словом – и писать, рассказывая о людях и о себе так, чтобы не было стыдно перед мастерами отечественной словесности и, понятно, словесности мировой.

Приятель звонили и спрашивали: «Как тебе на вольных хлебах?». То ли сочувствовали, то ли ехидничали. «Высыпаюсь, – отвечал я. – А хлебов нет».

Какие тут хлеба, если за восемь лет (по семьдесят шестой год) у меня, кроме рассказа «Трусаки», не было публикаций?

...Что-то произошло в возвышенно-надзирающих сферах, отчего мои сочинения начали разбирать в журналах, не допускались в сборники и в лучшем случае калечились в сброшюрованных уже книгах.

А я-то считал себя благонамеренным человеком, обнадёженным честностями двадцатого съезда и не способным нанести какой-либо урон устоям вот-вот должного осчастливить нас (в 1980-м году, не позднее) коммунистического построения.

И тем не менее...

Один мой приятель, мужик порядочный, но вхожий в слои, определяющие сущность любого гражданского отсвета, в парной при гвалте оздоровлённых удовольствиями индивидумов, сообщил мне, всё же шёпотом: «Механик тобой не доволен».

«Механик тобой не доволен» – слова из дореволюционной социально-нездоровой жизни, напетые великим Утёсовым. Они были уместны и в шестьдесят девятом году, и мне расспрашивать о подробностях не захотелось.

Ну, и ладно. Ну, и так проживём. Пусть механика щекочит другие. И всё же хотелось понять, чем же вызвано недовольство механика.

Сказал кочегар кочегару. Механик тобой не доволен. К врачу обратись, если болен. На палубу вышел, сознания уж нет.

На палубу не выходил. Сознания не терял. Кочегаром не был. И не кочегар говорил мне в бане про механика.

В шестьдесят восьмом «Юность» опубликовала мой роман «После дождика в четверг». Члены редколлегии просили изменить название сочинения. Мол, комсомольская стройка, и вдруг всякие мрачности в финале. Это ладно. Название осталось. Многие события романа происходили не в Саянах, а в подмосковном текстильном городке Яхроме (в тексте – Вла-херме). И там (в романе) существовала мать одного из персонажей прославленная довоенная ткачиха-стахановка, любимица Сталина и Калинина. А жизнь её вышла пустой, несчастливой и полупьяной. И рассказывалось в романе о судьбе ещё одного яхромчанина – крупного врача-терапевта, Белашова, прошедшего все муки и мытарства по «Делу врачей». В тот год цензура была как бы отменена, могла заниматься лишь государственными тайнами, раствори-лась в небесах, а за все правки в тексте отвечали будто бы редакторы. Когда я прочитал в журнальной вёрстке свой текст, я ужаснулся. Яхромские эпизоды были искалечены. Леген-дарная завпрозой «Юности» Мэри Лазаревна Озерова, как бы и виноватая в неприятностях, лишь повела глазами куда-то в бок, а потом и вверх и поинтересовалась, согласен ли я с «журнальным вариантом» или нет.

«Журнальный вариант» был подброшен мне спасательным кругом. Он давал возмож-ности вариантов оправданий перед самим собой...

Через год роман выходил книгой в «Советском писателе». Раскрыв её, я не нашёл мно-гих эпизодов о послевоенной жизни страны, в частности, и слов «Дело врачей», не было такого, пропала из неё и фамилия Сталин. Никаких предварительных разговоров со мной не вели, и когда я явился с решительными выражениями к важным в издательстве людям, меня встретили с искренними улыбками, признающими право на существование в социуме простака, и было мною услышано: «Ну, старик, ты даёшь! Мы, что ли придумали эти Праж-ские Вёсны! Эко они распустились! Коньяку хочешь? Скажи спасибо, что и в таком виде тебя напечатали!»

И потом восемь лет меня не печатали. Правили, набирали, согласовывали и разби-рали... И не печатали. Ничего. Кроме рассказа «Трусаки».

А я уже в шестьдесят восьмом, ещё работая в «Комсомолке», выслушивал на каком-то молодёжном активе указания пальчиком (или кулаком) грозящего, пустого, полуграмот-ного человека по фамилии Демичев, химика, что ли, но надевшего партийные безразмерные штаны дилетанта, развалившего позже Большой театр, а вместе с другими и великую страну: «Забыть о Двадцатом съезде и его обольщающей болтовне!»

Такие начинались для меня вольные хлеба и полёты свободного художника.

Тогда и возникла в моей жизни Хрюшка, какая – то ли улыбалась, то ли смеялась. Проживала она где-то вдали, а в Москву являлась в Останкино, на Аргуновскую улицу, в зеленоватый деревянный домик с башенкой, явно бывший в начале прошлого века чьей-то дорогой дачей, а теперь вместивший в себя коммунальные службы и почту со сберкассой.

На девятом году службы в «Комсомольской правде» я был, наконец, обмилостивлен квартирой (сорок с малым кв. метров на пятерых), в Останкино, тесной, как желудок клопа (или что там внутри клопа?), но с горячей водой, ванной и без соседей. Местность наша между улицей Королёва с Полем Дураков и Звёздным бульваром была прозвана Комсомоль-

ской деревней. Строили здесь дома на деньги процветающего тогда издательства «Молодая гвардия», а заселяли их комсомольские работники мелких и средних значений и журналисты молодежных изданий. Были они шустры, сообразительны и позже многие из них в тихие и в бурные годы выстроили себе высоковольтные карьеры.

Не все, конечно.

Из домика с башенкой на Аргуновской почтальоны разносили кому газеты с журналами, кому – телеграммы, кому – извещения о денежных переводах.

А денег в нашем доме не было. Да и откуда бы они взялись? Отец с матерью – инвалиды, отцу пенсию начисляли, матери – нет, домохозяйка. Жена приболела, платили ей пол-оклада, на троих с сыном у нас получалось семьдесят рублей. Шёл расчёт на прожитьё каждого дня.

Мужской клуб у нас располагался в пивном автомате на Королёва, шесть, зайти туда для общения я мог, только имея двадцать копеек на кружку пива.

... Тоже мне драма, скажете вы, и будете правы.

Наши танки стояли в Праге, способные на поступки люди страдали в лагерях, а тут вы со своими двадцатью копейками!

Внезапно объявившаяся Хрюшка предлагала мне, и не раз, по десять рублей, а я их не брал. Знал, что отдать будет нечем. Быть же должником кого-либо или чего-либо, я полагал, в нашей профессии не только безнравственно, но и просто невозможно, это ведёт к благо-оправдательным компромиссам.

Я писал тогда роман «Происшествие в Никольском». Четверо подростков в подмосковном городке изнасиловали свою приятельницу. Правовые люди дело закрыли. То ли получив взятку от родственников парней, людей влиятельных и благополучных, то ли по какой-то иной – высоконравственной, государственной причине, и героиня романа Вера Навашина сама вынесла приговор обидчикам, прощённым сильными мира в районе...

Многим зрителям нынешних кинофильмов этот сюжет может показаться знакомым. Отчего бы и нет... Сообщу только, что свой роман я закончил в 1972-м году, и что у Веры Навашиной не было стрелкового оружия, а взяла она с собой к предполагаемому месту отмищения нож, и нож этот, уже занесённый для удара, отбросила, потому как поняла, что и негодяев, смявших её судьбу, лишит жизни она не может...

Роман я отнес в «Юность», казавшуюся мне тогда вторым домом. Там его забили отрицательными суждениями членов редколлегии. В частности и со словами: «Не отражена роль общественности...» Через десять лет на каком-то юбилее жена моя поинтересовалась у Бориса Николаевича Полевого, отчего он не стал печатать «Происшествие в Никольском», он сказал: «Струсил. Виноват, но струсил».

С робостью («со страхом и надеждой») отправился я в «Новый мир», самый остро-социальный наш журнал второй половины двадцатого века. Роман там прочитали и одобрили. И не только одобрили, но и заключили со мной договор и стали готовить текст к публикации. В редакторы мне была определена (и согласилась ею стать) Анна Самойловна Берзер. Сама Анна Самойловна Берзер. Она была редактором «Одного дня Ивана Денисовича» и других прозаических публикаций Солженицына в «Новом мире», «Матрёнина двора», например. В волнении, естественно, пребывал я в ожидании разговора с Анной Самойловной. Но текст мой, приготовленный редактором к набору, меня удивил, он был урезан и утихомирен. «То есть вы, Володя, – сказала Берзер, – правку мою не принимаете?» «Я могу согласиться или не согласиться с чьими-либо пожеланиями, – пробурчал я, – но чужой текст принять я не могу». «Значит, вы не хотите, чтобы ваша вещь была бы опубликована... – произнесла Анна Самойловна с жалостью к автору. – Прошу тогда расписаться на каждой странице и пометить: “С правкой редактора не согласен”». Дня два у меня ушло на отчётливое выведение этих самых слов: «С правкой редактора не согласен».

Рукопись передали другому редактору и в конце концов она ушла в набор, и даже были определены два номера «Нового мира» 1974 года для публикации «Происшествия в Никольском». А в семейный бюджет поступила четверть предполагаемого гонорара. Но тут я заскочил вперёд, будто позабыв о посещениях неизвестной мне Хрюшки домика на Аргуновской улице. Хрюшка же снова была готова обеспечить меня то десятью, то двенадцатью с копейками рублями. А в том «впереди» и в издательстве «Советский писатель» роман отправили в типографию. Правда, было соблюдено условие: ни в какой сопроводилровке, ни в какой аннотации не употреблять слово «изнасилование». Иначе директор издательства Н. В. Лесючевский разогнал бы редакцию русской прозы. А слово это и не определяло сути романа, было его частностью. Сошлись на выражении – «драматический случай». (Позже в ситуации с «Альгистом Даниловым» от того же Лесючевского упрятывали слово «демон»).

Не ради красного словца я написал выше о двадцати копейках. Продуктов для домашнего благополучия я мог закупать в день на рубль. От силы – на полтора. Грела надежда: вот напишу «Происшествие в Никольском», и тогда, возможно, произойдёт улучшение семейной, как нынче говорят, продуктовой корзины, тогда бы сказали – продуктовой авоськи, без которой не выходили из дома учёные жизнью граждане. А меня взяли и забрали в армию.

И лейтенантом отправили на китайскую границу. В Алма-Ате, после боёв на Даманском, а потом и в Казахстане в Джунгарских воротах на заставе Жаланашколь (1969-й год) создавали новый Средне-Азиатский военный округ, и я потребовался для его укрепления.

Никакого желания побыть лейтенантом я не ощущал, понимал, что могу и не дописать «Происшествие», а главное – болезни ближних требовали моего присутствия в Москве. Но мне объяснили, что я не один ерепенюсь, а всё равно будут отправлены (или уже отправлены) во Львов, в Прикарпатский округ, – Андрей Вознесенский и Володя Костров, – в Тбилиси, в округ Закавказский, – Евтушенко, – назывались и ещё какие-то имена и округа, их я уже не помню.

Меня, по военному билету, общевойскового офицера, то есть лейтенанта мотопехоты, отчего-то прикомандировали к лётной дивизии. Новые сослуживцы и соседи мои по койкам сразу же стали приятелями, по вечерам играли в «буру», а по утрам вылетали в приграничные китайские небеса, и воем подвешенных к крыльям болванок пугали и так запуганное оголодавшие-нищее население. Очень скоро начальство убедилось, что ни авиации, ни мотопехоте в их доблестях вспоможения я не окажу, и меня перевели в окружную газету «Боевое знамя». Воинство в округе собралось удалое, многие из моих новых знакомых два года назад брали Прагу, теперь на стволах орудий и танковых башен писали масляной краской: «Дембиль через Пекин!» и были уверены в том, что до прогулок по площади Тяньаньминь потребуются не более шести часов лёта. Китайцы уже не дерзили, разумные люди, своего добились через тридцать с лишком лет вежливыми переговорами, и теперь окровавленный Даманский – их земля. То есть от меня не потребовались ни отвага, ни подвиги, а я уже был к ним готов, пошла тихая маета отбывания времени в обязательных рубриках младшей сестры «Красной звезды», где, как бы ни старались внимательные стражи, наборщики непременно из «военно-полевых» учений создавали учения «военно-половые». Чтобы не скучать, я решил подтвердить, – вышло – на свою шею, – репутацию столичного газетчика и написал четыре очерка, из-за которых чуть ли не остался в армии надолго. Хотя бы и на два года. Это могло произойти запросто. «Двухгодниками» из гражданских тогда начали забивать вакансии и дыры после Хрущевских шальных сокращений. Я приуныл. В Москве никто не мог мне пособить. И совершенно неожиданным, косвенным, конечно, высвободителем из несвойственного мне армейского состояния оказался (уж не знаю, в каком он звании был, раз диплома не имел, сержанта, наверное, в лучшем случае) Евгений Александрович Евтушенко, мой «земляк» по Мещанским улицам. По легенде, после публикации в «его» окружной газете поэмы Е. А. «Пушкинский перевал» был снят за крамолу её редактор, некий полковник. В Алма-Ату

известие об этом донеслось немедленно, на меня стали смотреть с подозрительным недоумением: ну, и что, пусть стихов и не пишет, а вдруг возьмёт и тоже выкинет какое-либо похабное коленце? И я был возвращен в цивилизное состояние и отпущен в Москву.

На Казанском вокзале меня встречали жена и сын. Шёл мокрый снег. Я вернулся отощавший и с долгом в пять рублей (на нужды четырёх суток дороги) блестящему гусару и журналисту Володе Лелюхину. Эти пять рублей долга до сих пор бередают мне душу. Но встретиться с Лелюхиным позже не удалось...

В мокрый снег босиком вышел из вагона и здоровенный мужик, путешествовавший с нами из восточных земель в Москву, высокомерно и даже брезгливо раздвигавший всех, мешавших его движению в проходах вагонов, а за ним семенили чуткие послушницы, со смиренными будто бы взглядами, но сохранявшие пластику бёдер и остроту глаз охранительниц. Мужик был полуголый, в спущенных ниже колен белых, но давно не мытых подштанниках, пах дурно, однако такая уверенность в своём подвиге и в своём историческом предназначении исторгалась из него, что и расталкивание им мелкостных людей воспринималось, как милость утомлённого суетой пророка.

«Порфирий Иванов! – шептали ему вслед. – Сам Порфирий Иванов!»

...Я ощутил, что ехал со мной в одном поезде шарлатан. Хотя, возможно, в случае с Порфирием Ивановым я и ошибаюсь. Допускаю, что он был бескорыстным чудаком, с идей и с сомнительным учением. Но сколько потом я наблюдал шарлатанов, и в особенности, сколько теперь я наблюдаю шарлатанов, иные из них в отличие от Порфирия Иванова и вовсе не носят нижнего белья, о чём одаривают знанием население своей дурацкой страны, расположенной за пределами известного шоссе. Им, убежденным в своей миссии, пророческой ли, коммерческой ли, по завоеванию простаков или халявщиков, с их средствами, можно только позавидовать. И в этом их функция и выгода.

Пребывание в армии, любой пишущий всерьез человек меня поймет, разорвало моё проживание внутри романа, я вышел из «Происшествия в Никольском» и смог вернуться в него лишь через год.

Ходил за грибами, и вдруг в меня вцепилась фраза, будто оса ужалила: «Домовой Иван Афанасьевич ждал субботы». Причём жало осы не оказалось болезненным. И дальше грибы попадались, и фраза вилась рядом, намереваясь ужалить ещё раз...

После удачного грибного похода обычно, как бы ты ни устал, не сразу проваливаешься в бездумство сна, но перед твоими уже будто бы успокоенными веками глазами всё равно возникают трава и в ней шляпки грибов, боровиков, воздушно-розовых волнушек, красных и зелёных сыроежек, чёрных и белых подгруздей, их всё больше и больше, им нет конца... Но в тот день они не мешали словам «Домовой Иван Афанасьевич ждал субботы»...

А домовой Иван Афанасьевич ждал субботы, чтобы в останкинском кинотеатре «Космос» оказаться рядом с совершенно реальной женщиной Екатериной Ивановной Ковалевской, нашей приятельницей и женой моего друга. Он влюбился в неё. А услугами и штампами министерства внутренних дел её место жительства было определено именно в строении домового Ивана Афанасьевича. Я писал про его историю каждый день. Не забывая, конечно, о «Происшествии в Никольском». Зачем? И сам не знал. Натура требовала, заданная, видимо, обстоятельствами быта, реалиями собственной жизни и ситуацией, случившейся в посёлке Никольское.

Интересно было. Интересно! Забавно. Оживали вдруг на клеточках школьной тетради существа, будто бы из меня произошедшие, но состоящие в родстве, не знаю уж какими пуповинами вызванном, и с Щелкунчиком, и с советником Дроссельмейстером, с Солохой и её сыном Вакулой. А главное – они словно бы существовали рядом со мной, за стеной, или в стенах, и уж, точно, в доме с башенкой на Аргуновской, а один из них отважился влюбиться в женщину с паспортом и шрамом от укуса собаки на левой ноге.

То есть это и раньше должно было случиться. Но случилось теперь. Когда я в муках и радостях приходил (так мне казалось) к собственной интонации, к свободе её, просиживая над рукописью о горьком происшествии с подростками, и кое-как пользоваться своим инструментом – словом – научился.

В детстве, в Напрудном переулке, за стеной жил мальчик Саша, одноклассник, мученик игры на скрипке. Я же, получалось, осваивал потихоньку скрипку размером длиннее – альт, скажем.

В «Юности» рассказ о домовом «Что-то зазвенело» приняли с улыбками и радушием. Отвели десять полос. Известному рисовальщику и карикатуристу Иосифу Оффенгендену поручили сделать к рассказу рисунки.

Я держал в руках вёрстку с его картинками. Ося Оффенгенден стоял рядом. «Ну, старик, – сказал Ося. – Это будет нечто...» А через несколько дней я получил письмо от Бориса Николаевича Полевого. Он по-прежнему радовался моему рассказу, но радовался и тому, что в журнале «Юность», старик, в редколлегии – американская демократия, и вот эта редколлегия, старик, проголосовала за то, чтобы рассказ «Что-то зазвенело» разобрать. И разобрали. А мне потом стало известно, что дело вовсе не в редколлегии с её незаслуженными вольностями. А в другом.

...Это «Другое» потом долго дергалось и кружило вокруг рассказа про любовь и над ним и никак не могло успокоиться. Рассказ был набран в журнале «Смена», и там его разобрали. Братья Стругацкие включили его в очередной том популярной тогда серии «Молодой гвардии», и здесь его прикрыли крышкой унитаза. И дальше продолжалось совершенно неуправляемое мною и бессмысленное порхание перепечаток рассказа на машинке по издательствам, журналам и киностудиям.

«Что-то зазвенело», без которого я бы не смог написать «Альтиста Данилова», в конце концов, был напечатан через семнадцать лет в журнале «Сельская молодежь», то бишь в 1989-м году. Вот-вот три весёлых дяди с егерями, кравчими и писарями должны были появиться в Беловежской Пуще, где их ради народного волеизлияния смиренно поджидали зубры.

А прежде на «Мосфильме» он доброхотами передавался из объединения в объединение. Все они были творческие, а потому имели номера. Первое, второе, третье... Совсем уже собирался начать работать над «Что-то зазвенело» Виктор Титов, поставивший в своем творческом «номере» «Ехали в трамвае Ильф и Петров» и «Здравствуйте, я ваша тётя!», знаю с его слов об этом. Но ему сказали: «Да ты что!» Потом мне сообщили, что рассказ взялся читать сам Данелия, сейчас он за границей, но через неделю вернётся...

К этому времени «Происшествие в Никольском» тихо разобрали в «Новом мире». Был роман в типографских литерях, и нет его. Не балуй. А когда мне показали места, вызвавшие особое непонимание Китайского проезда (там беспорочно и в тепле пребывал Главлит), я мысленно принёс извинения Анне Самойловне Берзер. Всё, что она убирала из моих текстов, и всё, что я, самонадеянный (или обнаглевший) автор, со словами: «Не согласен с правкой редактора» восстанавливал, и привело к потоплению романа. Рукописи не горят, но тонут. И никаких имён надзирателей над соблюдением литературной нравственности нигде не было. Виднелись лишь мягкие карандашные пометки...

...Однажды судьба занесла меня в Дом на Набережной. Борис Николаевич Голубовский, тогда главный режиссёр театра Гоголя, задумал в шестьдесят восьмом году поставить спектакль по роману «После дождика в четверг». Вместе с женой он проживал в квартире покойного тестя – начальника цензуры тридцатых годов. Был приятный разговор благополучных гостей за легкомысленным и сытым столом, и кто-то предположил, что мрачные тени из дома уже изошли, и, наверное, стоит вспомнить о чём-либо весёлом. «А сейчас! – было сказано. – Вот это, пожалуй, может показаться забавным...» И был явлен гостям белый

конверт с резолюцией, исполненной красными чернилами (или красным карандашом, не помню): «Печатать разрешаю. И. Сталин». Довоенный хозяин квартиры, видимо, посчитал, что его должность не позволяет решить столь ответственный случай и отважился обратиться за подмогой к высочайшей инстанции. Слова: «Печатать разрешаю» определили судьбу стихотворения Самуила Яковлевича Маршака «Мистер Твистер». Гости поразглядывали резолюцию и сошлись на мнении: «Действительно, забавно...»

А я после беды (моей) в «Новом мире» получил послание из издательства «Советский писатель». Перед тем я вычитал вторую сверку «Происшествия», а тонкими литературными людьми была уже произведена профилактическая штопка, то есть через месяц через два должен был бы привезён на склады и в магазины тираж книги. Из послания выходило, что по каким-то причинам текст был прочитан заново и с ясной головой, и требуется просветление. Уж больно мрачными и несоответствующими реалиям жизни при боковой подсветке увиделись происшествия с молодыми людьми, ровесниками строителей БАМа, что без решительного просветления обстоятельств романа, книга могла бы оказаться вредной. Людей из редакции русской прозы, почти допустивших выход книги в свет, облагодетельствовали выговорами и лишили календарных премий.

Просветлять что-либо я отказался. Прежде всего от непонимания, что же я должен просветлять. Я сам, видимо, жил непросветлённый. И просто захотел описать взволновавшую меня реальную житейскую ситуацию.

...Но отваги заявить: «Режьте меня! Бейте меня! А и строчки не исправлю!» во мне уже не было. Я обещал подумать. Но думать не спешил...

К тому времени в Питере на «Ленфильме» взяли и закрыли производство четырёхсерийного телефильма «После дождика в четверг». А ведь был уже у картины и директор со штатом и автомобилем. (Киношники знают, что это такое. «Поехали!»). И почти все актёры подобраны. То есть после двухлетних мытарств на бестолковых худсоветах следовало при команде «Мотор!» разбивать бутылку шампанского. Повод для закрытия многих на студии рассмешил и опечалил. Виктор Аристов, два года как утверждённый режиссёром, срочно выяснилось, якобы не имел права быть постановщиком фильма, потому как кончал не ВГИК, а театральный институт. А уже успел поработать вторым режиссёром у Алексея Германа и на лучших фильмах Ильи Авербаха. И потом режиссёром ставил фильмы («Порох», в частности). Я же получил после окончательного расчёта четыреста рублей, по весёлости судьбы именно четырьмя сотнями бежевых бумажек рублёвого достоинства, плотно забивших нутро кейса (Сейчас в детективах открывают крышку, и в той же чемоданной ёмкости радуют расторопных героев упаковки миллионной зелени).

Хорошо хоть довёз сокровища до Москвы, а то ведь были в поезде и приключения...

Естественно, нашлись причины, по каким спектакль в театре имени Гоголя не состоялся. Может, тени в квартире Дома на Набережной нахмурились и выразили неодобрение...

Совсем недавно от режиссёра Валерия Ускова, ставившего вместе В. Кранопольским фильм «Таёжный десант» по первому моему роману «Солёный арбуз», узнал историю, меня удивившую. Оказывается, в припоминаемую мною пору один сановник из наиважнейших на важной даче посмотрел «Таёжный десант», возмутился, и фильм, совершенно благонамеренно-романтический, собравший уже двадцать восемь миллионов зрителей, на долгие годы водворили на полку. Мне об этом было не ведомо...

...«Механик тобой не доволен...» А может, дело было и не в механике, а моем собственном несовершенстве? Наверняка, именно так. Конечно, так. Самоедство присуще мне. Иногда оно даже приносило удовольствия и оправдания иных несовершенств. Но чаще вызывало уныние и желание осуществлять себя в какой-либо другой профессии. С детства мечтал ведь быть географом, вот и был бы им. Но не стал (хорошо, хоть попутешествовал по стране газетчиком) и уже не мог им стать.

А надо было жить дальше и делать то, от чего натура уже не могла отказаться.

Тут как раз и случай, чтобы напомнить о доброжелательной ко мне Хрюшке. Сочетание Владимир Орлов – банальное. В годы, о каких взялся писать, в отечественной словесности и журналистике всяких Владимиров Орловых имелось множество. Был среди них (нас) даже Лауреат Ленинской премии (тогда – Эверест-Джомолунгма!), поощренный за участие в книге «Лицом к лицу с Америкой» о ковбойской поездке Н. С. Хрущёва по кукурузной стране. Был Владимир Николаевич Орлов, ленинградский литературовед, выпустивший книгу о Блоке – «Гамаюн». Книгу замечательную, её до сих пор незаслуженно (для меня) вписывают в перечень моих работ. Я же по просьбе питерского профессора, высказанной в письме ко мне, обязался не употреблять сочетание «Вл. Орлов», на него была монополия автора «Гамаюна» с младых лет. Был и ещё какой-то Владимир Орлов, сочинявший пьесы в компании с иными драматургами, этими пьесами до сих пор награждают меня составители биографических справочников. И был в Симферополе Владимир Натанович Орлов, чьи забавные и с ехидствами, как бы для детей, стихи публиковались на шестнадцатой полосе «Литературной газеты». В его-то стихах грустила, улыбалась и уж совсем растроганная поступками друзей смеялась или даже хохотала Хрюшка.

По десятке от её весёлых настроений и стало приходиться ко мне в Останкино.

Иногда почему-то и по двенадцать рублей с копейками.

...Мало того, что я человек щепетильный. И верю в приметы. Деньги за чужие труды удач не принесут. Это одно. Но я просто представлял: вот накуплю я, расслабившись, на эту волшебную-дармовую десятку продукты, а ко мне явятся люди и скажут: «Что же вы, гражданин, рот открыли на чужой каравай, гоните деньги обратно!» А откуда я их возьму? Почтальоны происхождения извещений на десятки объяснить не могли, я ходил сдавать деньги на почту и там узнал источник поступлений: «гонорар за стих. Хрюшка улыбается». Пришлось ехать в Лаврушинский переулок, там, при знаменитом писательском доме, принявшем в свои комнаты и коридоры особо почитаемых авторов, чьи фотографии имелись в школьных учебниках, местилась какая-то финансовая кормушка. Естественно, мои попытки вернуть деньги неведомому мне автору Хрюшки улыбающейся, вызывало у милых дам в кассовых окошках желание пригласить на беседу со мной психиатра. «Мы идиотки, что ли, разыскивать эту хрюшку и отсылать ей вашу мелочь! Берите. И не морочьте нам головы!»

А я не брал. И убеждал занятых дам отослать гонорары в Крым.

Занятые дамы смотрели на меня с жалостью разочарованных матерей или успешных в своих диагнозах психоаналитиков.

Тех, к счастью, ещё не развелось множество в Москве, да и теперь они могут быть полезны разве что в случаях внезапной беременности услуги на золочёных дачах. Психоаналитики в стране дураков Иванов подмогой не станут, сами попросятся в страны с тончайшей психикой на успокоение под души Шарко.

Вершиной гуманитарной помощи упоминаемой мною Хрюшки стал заказной пакет, пришедший в Останкино из Ленинграда. Ленинградское отделение «Музгиза» прислало мне проект договора, подписав какой, я мог быть вознаграждён сорока тремя рублями. В письме мне предлагалось продать права на использование моих сочинений для написания либретто (то есть либретто уже было создано, письмо вышло соблюдением вежливой формальности) трехактной оперы. В первом акте Хрюшка грустила и плакала, во втором, ощутив понимание других персонажей, улыбалась, в третьем – естественно, пережив катарсис, смеялась или хохотала. Но название оперы, как мне запомнилось, было именно – «Хрюшка улыбается».

Мне бы тут же разорвать пакет с документом на клочки и истоптать их, но уважение к чужому труду остановило меня и я поехал в Лаврушинский переулок, чтобы написать решительное заявление-протест, в котором я просил не ущемлять авторские права симферополь-

ского поэта Владимира Натановича Орлова и более не приставать ко мне с оплатой чужих заслуг.

К тому времени я уже ходил со своими рублями в карманах.

С тридцатых годов, то есть при призыве: «от станка – в литературу!», при издательствах и журналах существовала система литконсультантов и «внутренних» рецензентов.

В принципе-то система – фискальная. Сославшись на мнение каких-то невидимых специалистов о якобы дурном качестве рукописи, можно было не допустить её публикации. Но, вышло, что и не бесполезная...

Нынче самую читающую страну упразднили. Зато она стала страной писателей. Что ни человек с амбицией, то – писатель. Скажем, брошенные олигархами или хотя бы нуворишами средних коттеджей и яхт, дамы, не получившие при разводах всех квартир и изумрудов, тут же становились писательницами. И толпами лезли в ток-шоу с моральными разоблачениями. Чем больше их били и угнетали прежние мужья, тем гуще получались тиражи написанных ими (якобы ими) книг.

Будучи занудой, повторюсь. Книги не пишут. Книги издают. Но для многих нынешних писателей и писательниц это не важно. Они получают свои книги из типографий, а каким способом и какими людьми создаются товарные изделия с их именами, для них – несущественные мелочи. Потом они привыкают к тому, что они писатели.

Так вот, графоманов и людей тщеславных и в шестидесятые годы было не меньше, чем сегодня. И они жаждали славы и лавровых листьев. Стало быть, была работа для литконсультантов. Сострадательные люди пригласили меня читать рукописи в издательстве «Детгиз», а потом решила поддержать меня и «Юность». В «Детгизе», проверив мои способности, предложили даже перевести что-нибудь на русский с национального. Тогда наблюдался подъем национальных литератур. И его следовало поддерживать. Дали мне на выбор рукописи (подстрочники) чувашского автора М. Юхмы и лезгинского – К. Меджидова. История с чувашскими пионерами показалась мне морализаторски-скучной. Да и рассказано о ней было плохо. В сыром же жизнеописании К. Меджидовым ашуга Сулеймана Стальского мне стала интересна личность главного героя. О Сулеймане Стальском упоминалось во многих учебниках. Да и смотрел он на нас со множества фотографий. Древний дед в белой бороде и в белой же папаше. Аксакал и мудрец. Написал (или пропел) восторженные слова о Сталине или о Сталинской конституции. Сидел в Верховном Совете, представляя народы Кавказа. А из подстрочников К. Меджидова я узнал об истории полунищего молодого человека из бедного горского аула, лезгинского соловья и импровизатора, вынужденного обслуживать свадьбы и застолья на нефтяных промыслах Баку, о его странствиях и его любви. Материал рукописи был интересный, но походил на грудку камней, завезённых для постройки крепостной башни. Да большинство камней надо было ещё и обтёсывать. Я послал автору свои соображения об архитектонике повести, получил его добро и всё равно долго не мог заставить себя сесть за переписывание чужой работы. Заставил (аванс был уже проеден!), и тут начались странности. Перо моё принялось плести восточные орнаменты, узоры дагестанских ковров, выводило слова и метафоры, какие было жалко отдавать чужому имени. Но коли назвался груздем...

Никакие обстоятельства позже не смогли вынудить меня снова взяться за переводы или за переписывание чужих текстов. А соблазны были... Многие мои коллеги растворили себя в чужих текстах. Великолепный Юрий Казаков годы потратил на сотворение казахского эпического полотна «Кровь и пот». А толку что? Где теперь эти «Кровь и пот»? И кому они были нужны! Впрочем, что задавать пустые вопросы? По этикету дружбы народов предпочтение в издательских планах отдавалась тогда произведениям национальных литератур. А создавать их надо было на русском языке...

А «внутренние рецензии» приходилось сотворять и дальше. Почти до конца восьмидесятых годов. Их листочками забиты у меня картонные коробки. Тошно было тратить на них время, но что поделаешь... Но были и моменты радостных удивлений и открытий. Да, система литконсультанства случалась не бесполезной. Однажды в «Юность» авиапочтой прибыли вахтенные журналы с острова Карагинский, это – у берегов Корякии, между Петропавловском и Чукоткой. Работник маяка Борис Агеев на разлинованных буроватых страницах накарябал повесть «Текущая вода». Сочинения «от руки» в журналах не принимались. Для острова Карагинского сделали исключение. Я прочитал повесть, пошел к тогдашнему редактору «Юности» Полевому, сказал: «Борис Николаевич, это надо печатать!» Полевой, человек азартный, тотчас отправил маячные журналы машинисткам, а по прочтению рукописи, распорядился, доставить автора с маяка в «Юность» и немедленно. И доставили. С острова Карагинского вертолётом на Камчатку, с Камчатки – самолётом в Москву. Автор оказался обветренным, бородатым парнем, стеснительным и молчаливым, будто бы напуганным суетой столицы, из-за чего получил прозвище «Маугли». Через пару месяцев повесть его была опубликована. Став профессиональным писателем (помогли Высшие курсы при Литературном институте), Борис Агеев выпустил несколько интересных книг. Понятно, для меня, «внутреннего рецензента», эта история вышла радостной. И слава Богу, она была не единственной...

И всё же созрела, наконец, до появления в магазинах моя книга «Происшествие в Никольском» (другое дело, появлялась она в магазинах или не появлялась, неведомо). В ту пору книга, текст которой не прошёл в журналах, называлась «могилой неизвестного солдата»...

Но так или иначе – «рукопись всплыла»...

Шёл семьдесят шестой год. И были произведены в романе столь любезные издательству и «механику» просветления. И «общественность» в романе появилась, и дело об изнасиловании не было закрыто, его отправили «на исследование»... Я бранил себя за слабость натуры, за согласие на «просветление». Но и не отказывался отыскивать себе оправдания. Мол, несмотря на все поправки суть истории не изменилась. Мол, первый вариант романа никуда не пропал, и будет случай, текст можно будет восстановить... И т. д. Главным же оправданием было для меня то, что я заканчивал тогда роман «Альгист Данилов» и знал, что теперь ни на какие издательские компромиссы я не пойду.

Хотя бы потому, что рукопись «Альгиста» я никуда не понесу. Да и куда было нести? Оказалось, было куда.

Беловой текст романа я уложил в папки, основательно завязал их тесёмки и убрал рукопись в ящик письменного стола. И тут мне позвонила Диана Варткесовна Тевекелян, редактор отдела прозы «Нового мира». «Нет ли у вас чего-либо нового? – был вопрос». «Новое-то у меня есть, – сказал я. – Но с чего бы вдруг возник интерес к текстам неудачливого и несостоявшегося автора „Нового мира“?» «А вот рассказ ваш о любви домового гуляет от читателя к читателю, – сказала Диана Варткесовна, – почему бы и не взглянуть на ваши новые тексты...» И взглянули.

То есть рассказ мой «Что-то зазвенело» продолжал какой-то полет шмеля...

Забыл про Данелию. Упомянул выше о том, что на «Мосфильме» некогда рукопись рассказа была вручена режиссёру Георгию Данелия, тот уезжал в Чехословакию и пообещал рассказ на досуге прочитать. Так вот, Данелия вернулся из Праги, пригласил меня к себе и сообщил доверительно: «Нет, это вещь непроходимая...»

...рассказ мой продолжал какой-то полёт шмеля, от меня независимый и чаще всего мне неведомый, без надежды гделибо, как и в случаях с «Мосфильмом», приземлиться. Продолжал полёт и ещё лет двенадцать, пока не опустился на цветные полосы популярной в ту пору «Сельской молодёжи».

...И всё же в семьдесят седьмом сумел снизиться и повлиять на судьбу «Альтиста Данилова». Публикации «Альтиста» в «Новом мире» я ожидал три года. С трепетом, со страхами, с нетерпением побывавшего уже в переделках автора. Но тут сюжет особый. И печальный, и забавный.

Лоскуты необязательных пояснений. Эти слова я употребил в названии нынешнего текста. На самом деле какие-либо авторские комментарии к своим сочинениям не только не обязательны, но часто и некорректны.

Хотя, предположим, смысловые «сноски» Андрея Битова к его роману «Пушкинский дом» не менее интересны, чем сам роман...

И, конечно, как не вспомнить о «разъяснениях» Умберто Эко «Имени розы»...

Мне же захотелось рассказать не о смыслах и о причинах своих сочинений, а о том в каких условиях собственного существования они создавались. Мимоходом и об обстоятельствах эпохи. Во многом и потому, что на встречах с читателями был осязаемым интерес к подробностям и закоулкам литературного бытия. А тут ещё потребовалось (так мне показалось) объяснить, почему под одной обложкой мог оказаться рассказ-фантазмагория и сочинения «реалистические». Не только ведь потому, что связаны единством исторического времени...

Потребовалось-то потребовалось...

Но вряд ли мне удалось передать сути, тайны и токи творческого движения, которые и для самого-то автора остаются тайнами.

Потому и вышли мои пояснения лоскутными. Не мною придуман такой способ передачи мыслей, воспоминаний или чувств. И не в отечественной словесности. И не в наш век. Но здесь он показался мне удобно-естественным. И мне близким. Недавно отыскались мои письма пятьдесят девятого года, мною забытые, к своим друзьям в Норильск, и они были лоскутными, с перескоками событийной и эмоциональной информации...

Менее всего мне хотелось, чтобы у кого-либо создалось впечатление, будто автор пожелал вызвать сострадание к себе: вот, мол, весь исколот шипами превратностей жизни. Ну, уж нет. Этот текст вовсе не жалобы турка. Моя судьба, российского сочинителя, схожа с судьбами многих моих ровесников. Её следует признать скорее благополучной, нежели требующей сострадания. Никаких доблестей и отваг я не проявлял.

Просто жил. «У времени в плену...» – это я не всегда ощущал. Просто существовал в рамках профессиональных необходимостей ремесла, выбранного моей натурой. Или (это уже пафосно и красиво) подсказанного моей натуре Провидением. Среди этих профессиональных необходимостей одно из важнейших – терпение. И, повторюсь, умение владеть словом так, чтобы не было стыдно за свои сочинения. При этом вопросы свободы и несвободы (для меня) остаются внутренне-личностными, независимыми от того, в плену я у времени или не в плену.

Но ведь и заботы о хлебе насущном...

Куда от них деться?

Легенды о преимуществах нищих творцов фальшивы.

Иоганн Себастьян Бах жил обыкновенным бюргером, обывателем, лупил нерадивых учеников палкой, долгие годы пёкся, как бы теперь сказали, о повышении зарплаты, надо было кормить семью. Бах-памятник в Лейпциге стоит с вывернутым карманом: денег нет. Но в своих творениях лейпцигский кантор взлетал в надбытовые, надмирные высоты.

«Я тружусь до изнеможения, подрывая своё здоровье, однако не могу ничего заработать. Не хочу описывать тебе свою нужду, она дошла до крайности. Уже пять дней, как я не ел ничего, кроме хлеба, до сих пор такого ещё не было». Это строки из письма Эрнеста Теодора Амадея Гофмана, вынужденного долгие годы канцелярской маетой и уроками обеспечивать возможности для любимого дела.

Благополучный в зрелые годы Гёте в молодости не голодал, но в средствах стеснения имел.

Шагал в пору своего парижского ученичества (вернее, художнического становления) нередко довольствовался чёрным хлебом с селёдкой.

Так. Вспомнил о Шагале... О Шагале, а стало быть, и о Плисецкой с Щедриным. Но об этом потом...

Боль существует только сейчас. В сию минуту. Вот сейчас ноги ноют. И вчера что-то болело, но вчерашней боли уже нет. О завтрашней боли нет охоты думать. Вчерашняя же боль, как и любая другая давняя боль, была существенна и для настроения, и для состояния натуры, бытового или рабочего. Но её уже нет. Остались в памяти дела, житейские заботы с их радостями или досадами. И многие эти заботы с досадами, со страхами прошедших дней начинают казаться пустяжными (ты и твои близкие их пережили!), достойными даже подтруниваний и над самим собой, и над особенностями эпохи. Потому и был написан мной рассказ «Субботники». Как раз о той поре, когда «механик» был мною недоволен. И тут не потребовались ни приёмы фантазмагии, ни игры воображения. Рассказ чуть ли не документальный. Разве что в нём изменены фамилии персонажей. И имена. Скажем, поэт по имени Спартак стал в рассказе Крассом. А вот имя моржихи я уважительно оставил – Барон. Не слишком много игр воображения и в романе «Бубновый валет», хотя кому-то из читателей история Василия Куделина может показаться фантазмагоричной. Но мало что случается в жизни... Персонажа, похожего на меня, я поселил в романе под фамилией Марьин.

«...век двадцатый, век необычайный, чем он интересней для историка, тем для современника печальней...» – сказано Николаем Глазковым. Впрочем, он (Глазков) залетал в «Андрея Рублёва» Тарковского и в пятнадцатый век. И там сломал руку. Или ключицу.

Но Хрюшка-то мне улыбалась! Пусть и без толку...

...Один из участников моего семинара в Литинституте талантливый Валерий Роньшин, живший тогда с поклонами аббериутам и Леониду Добычину, и в свою радикальную студенческую пору не отказавшийся бы от Нобелевской премии, был озабочен напором бытовых соблазнов и неурядиц, мешавших его творческим полётам. Приятель Роньшина служил в музее Петропавловской крепости. По просьбе Валерия (было это в начале девяностых годов прошлого века) по утрам он запирали его в одном из исторических казематов, и там в сырости одиночки Валерия сочинял рассказ за рассказом, их охотно печатали все ходовые в ту пору журналы. После полуденного выстрела питерской пушки в крепость приходила жена Валерия и протягивала в тюремное оконце судки с обедом.

Молодой был... Но неразумным назвать его было нельзя. Отчасти, конечно, отыскался бы в его выборе места для творчества и вызов судьбе. Но дни шли такие, что можно было и подерзнуть с игрой в заключённого...

Иные пришли писатели...

Тут, похоже, в моих соображениях возникает каша. Хотя как сказать... Кому-то удобнее произвести себя в аскета и творить в голодном одиночестве. Но для большинства-то обыкновенных физических особей... Казематы казематами (казематы – всерьёз, а не игровые казематы), они выводят человека за скобки, за витки колючей проволоки из нормальной жизни. Но коли ты существуешь в этой самой условно нормальной жизни, то тебе надо на что-то есть, пить, и главное – кормить семью, покупать лекарства и пр. и пр. Не зря каменный Бах стоит в Лейпциге с вывернутым пустым карманом. Каждого из людей творческих профессий, увы, гнетёт тревога – фуги фугами, поднебесные кантаты кантатами, но на что жить завтра, вдруг опять окажешься без пфенинга, то бишь гроша... Тем более, что государство приучило нас к своим фокусам и проказам...

Ну вот, пошли всё же жалобы турка... А зря.

Жили ведь как-то, порой и неплохо, и что-то делали...

Как-то ночью позвонили Плисецкая с Щедриным. «Альтист Данилов» вышел в «Новом мире» с предисловием Родиона Константиновича. Они прилетели из Парижа. Там были, в частности, в гостях у Марка Шагала. И сразу же по прилёту в Москву выполнили пожелание мастера. Передали мне его одобрительные слова. Шагал ощущал себя причастным к русской культуре, был подписчиком «Нового мира» и прочитал мой роман об альтисте Данилове. Шагал, по недоразумению называемый в энциклопедических словарях французским живописцем и графиком, был (и остаётся) одним из моих любимых художников, в его музыкально-цветовых фантазиях на фоне витебской повседневности (дряг жизни!) или над ней угадывались (для меня) связи с творениями Гофмана и Гоголя (видел его блестящие иллюстрации к «Мёртвым душам»). Естественно, в ту ночь уснуть я не мог...

Вертикаль моей жизни. Или горизонталь её. Не имеет значения. А может, вертикаль и горизонталь одновременно. Билет в Большой театр в обмен на батон хлеба. Дебют М. Плисецкой. «Щелкунчик». Гофман. Чайковский. А вскоре – великий Борис Ливанов (он же Бомбардов у Булгакова) в великом МХАТе в роли Ноздрёва. «Мёртвые души». Николай Васильевич Гоголь. Уроки русской словесности. В частности, её понятия о любви, совести и чести. И собственный дряг жизни...

И благодарение Богу...

Уже когда роман «Камергерский переулочек» был в типографии, мне позвонили из Российского Авторского Общества. Поинтересовались, не я ли автор стихотворения «Хрюшка улыбается» и если я, то куда переслать деньги за новую публикацию. «Чур меня! – чуть ли не закричал я в трубку, но сдержался. Давно не напоминала о себе Хрюшка! Я объяснил, что автор не я, а Орлов Владимир Натанович. „Как его найти? – был задан вопрос. „Вот уж не знаю, – сказал я. – Раньше он проживал в Симферополе...“ «Так это совсем другая страна!» – обрадовалась дама из Общества. Действительно, это совсем другая страна. И хрюшки у них совсем другие, И свиновас у них Ющенко. Другое дело, что учитывая национальную идею, хрюшки у них должны не только улыбаться, но и отплясывать гопак. Калмыцким верблюдам из опасений, как бы хрюшки из-за них не околели от африканской чумы, два месяца не давали возможность проехать шляхами из Ростова в Болгарию.

Священное животное ридной Батькивщины. Сало в шоколаде.

Впрочем, и у нас развито свиноводство.

«Анна Ванна, наш отряд хочет видеть поросят. Мы их не обидим, поглядим и выйдем...» Кажется, Агния Львовна Барто, коей я имел удовольствие быть знакомым. А может, и не она. Но удивительна судьба её творений и имени. Стихи из её детских книжек становятся текстами рок-шлягеров. И уж совсем всенародное признание. Известному словосочетанию «конь в пальто» нашлась замена. На вопрос «Кто?» нынче отвечают: «Кто! Кто! Агния Барто!» Касса работает в настоящем режиме цен. Как «утверждалось» на боку чекового аппарата у кассирши Людмилы Васильевны в Камергерском переулочке. «Анна Ванна, наш отряд хочет видеть поросят. Мы их не обидим, поглядим и выйдем...»

Всегда жили ожиданием худшего. И снова отовсюду крики, порой и истерические: «Кризис! Кризис! Кризис!». Каменному Иоганну Себастьяну Баху, не забывая о мотетах и фугах, пересчитывать бы теперь пфенинги или ещё какие-то монетные мелочи, не знаю, на что делятся евро, на еврики, что ли? А художнику из Витебска, коли был бы жив, наверняка, припомнился бы вкус селёдки и черного хлеба.

Однако, слава Богу, живём. И обязаны жить.

И как бы тут снова не объявилась Хрюшка. А самое время ей объявиться. Возьмут и позвонят. И сообщат, что она улыбается. На десять рублей. Или не на десять. А «в настоящем режиме цен»...

...Сижу и сочиняю новый роман. «Лягушки» пока называется. Увлёкся. Мыслями нахожусь в городе Средний Синежтур на спектакле «Маринкина башня». И не сразу сооб-

ражаю, что в соседней комнате звонит телефон. Подходить или не подходить? Или продолжить сочинение? Продолжу...

А телефон всё звенит и звенит...

июль 2009

Трусаки

Долго меня стыдили. Все уже бегали – и Евсеев, и Короленков, и Москалев с Долотовым, и Ося, а я нет. Сначала меня уговаривали, предъявляли мне свои животы, сопоставляли их с моим, и выходило, что их животы в чем-то стали меньше. Я им завидовал. Милые мои трусаки начали даже приобретать подтяжки, выстаивая очереди в Столешниковом переулке. А я все не бегал. «Эдак ты докатишься, – говорила мне жена. – Посмотри, на кого стал похож». Я смотрел. Какой был, такой я и остался, остановился в развитии. Но уж одно это было плохо. И я решил бежать. Хотя к тому времени бег трусцой и стал выходить из моды. Некоторые из моих знакомых, отбегав, отпускали уж усы. Кто под Бальзака. Кто под запорожского лихого сечевика. Иные, волевые, совмещали усы с бегом. Иные все еще бегали натошак, просто так. Вот и меня умными словами жена убедила присоединиться к ним. На усы, в особенности запорожского романтического покроя, она не надеялась. Но я человек застенчивый и ранимый. Представлю себе, как я в бежевом пыльном костюме и в дурацкой вязаной шапочке с заячьим хвостом-помпоном – по совету женского календаря – побегу по останкинским асфальтам и грязям, так мне дурно становилось. Виделись сразу прохожие. Один с деловым чемоданом, какой-нибудь хлыщ, физик или биолог, которому и по ночам снятся дрозодилы, останавливался, глядел на меня и смеялся: «Ну и экземпляр!» – при этом он наверняка думал, что и днем, вспоминая обо мне, будет смеяться. Мальчишка с портфелем тыкал в мою сторону пальцем и орал приятелям: «Смотрите – останкинский Борзов!.. Марк Спитц!.. Брат Знаменский!» Служащая барышня фыркала, не стесняясь, в лохматый краешек пончо. Бабка, спешившая на рынок за картошкой, шарахалась от меня и крестилась, как сорок лет назад, когда в своей мелекесской деревне увидела аэроплан. А я готов был ей ответить на ходу: «Сама не лучше выглядишь, старая дура...» Вот такие видения возникали в моей голове при мыслях о первом забеге.

Я все оттягивал его. А для того чтобы вконец не отказаться от благородной и выстраданной идеи, бегал по утрам по квартире. Задевал хрупкую зеркальную вешалку, сбивал парфюмерию. Жена не выдержала и сказала:

– Я понимаю, ты стесняешься бегать один. Но, может быть, ты с кем-нибудь объединишься? Может, в компании тебе будет легче начать?

– С кем же это?

– Ну с кем... Вон ведь в нашем дворе сколько бегают... И Евсеев, и Короленков, и Москалев с Долотовым, и Ося, наконец...

– Ну ладно, – вздохнул я. – Действительно, может, попробовать с Евсеевым?..

Я пошел к Евсееву. Благо тот жил этажом ниже.

– Ну что ж, давай, давай, – сказал Евсеев. Тут же он рассмеялся и подмигнул мне, как члену одной с ним масонской ложи. – Ты тоже, значит, любишь с утра?

– С утра... – неуверенно сказал я. – Если выдержи, то и перед сном можно будет... Специалисты так и советуют...

– Кто любит с утра, – захохотал Евсеев и опять подмигнул мне, – тот уж и вечером непременно!..

Назавтра утром, в восемь, сделав для храбрости под музыку репродуктора неуверенные движения руками, шеей и туловищем, я пришел к Евсееву. Был я в спортивном виде, в кедах на шерстяной носок. Жена, как боевая подруга, выйдя на лестничную клетку, провожала меня на подвиг. И я волновался. Евсеев уже ждал. В нашем доме он выделялся цветущим видом вечного везуна, громким голосом на собраниях жильцов, а зимой еще и пыжиковой шапкой. Да еще он любил петь в подъезде. Слов он не знал, но пел от души. Как выносит мусор или пищевые отходы, так и поет: «Блоха! Ха-ха-ха-ха!» И стекла звенят. А как спустит

мусор в трубу, так обязательно добавит: «А мы их, брат, дав-и-и-ить!» Все у него ладилось, и ладони от жизненных удовольствий он часто потирал с такой оптимистической энергией, что вот-вот, казалось, мог оделить всех огнем. Этакий Прометей. Заведовал он прудами в пригороде, ездил туда на машине и иногда говорил с нескрываемой радостью: «Утка – не птица, рыба – не кашалот!» Наверное, так оно и было.

– Вот... Я готов... – робко сказал я.

Евсеев оглядел меня с кед до заячьего хвоста и счастливо засмеялся:

– Давно бы пора включиться!

Жена Евсеева, Верочка, высунувшись из открытой двери, улыбнулась мне:

– Вы уж со Славы берите пример. Он два года бегаёт, и всегда бодр, и хороший семьянин.

– Ну пошли, пошли! – подтолкнул меня Евсеев, ноги его ходили ходуном, видно было, что ему уже невтерпеж.

– На лифте поедет? – спросил я.

– На каком лифте! Бегом по лестнице! Мы и так уже выбились из графика!

И он полетел впереди меня, не оглядываясь. Звук его шагов был громким и мощным, весь дом слышал, что бежит именно Евсеев.

Двор наш большой, весь в зелени, под тополями и каштанами, мятыми северным ветром, уложена бетонная тропинка. Вот по этой тропинке и пустились мы в радующий душу и мускулы первый мой забег. «Колени, колени выше! Ступай на носок! И толкайся, толкайся сильнее!» – кричал мне Евсеев на ходу и, оглядываясь, улыбался, словно был счастлив оттого, что я наконец приобщился к славному делу. Ах, как он красиво бежал! Шаг его был упруг и высок, сильное, здоровое тело чувствовалось под синим шерстяным олимпийским костюмом с белыми полосками на воротнике, дыхание было ровным и легким. И мне было хорошо. «Как здорово, что я начал!» – думал я и был готов бежать сейчас от Останкина до Мытищ, ничего бы, наверное, кроме удовольствия от бега, не испытывая.

– Стой! Куда ты так несешься! – услышал вдруг я. – Мы ведь уже за угол забежали...

Действительно, мы были уже за углом белой соседней башни. Евсеев бежал сзади, и не бежал вовсе, а так, семенил.

– Да не спеши ты! Какой удалец! Смени темп. Нам еще надо сберечь силы на обратную дорогу. Они нас теперь не видят... Впрочем, твоя жена и вообще тебя не видела... Ваши окна на южную сторону...

Я тут же остыл, семенящим шагом потащился за Евсеевым и почувствовал, что ноги у меня – бетонные, сердце – колотится, а дышать нечем. И не тридцать мне лет, а все семьдесят.

– Ничего, ничего, – подбодрил меня Евсеев, – сейчас добежим... Это с непривычки дорога длинная...

Внутриквартирными проездами мы одолели еще полверсты, и Евсеев как бежал, так и забежал в подъезд незнакомого мне дома. И меня рукой поманил.

– Теперь на пятый этаж, – сказал он и, заметив мой испуг, добавил: – На лифте... На лифте...

Я и в лифте по наивности хотел было бежать на месте, но Евсеев, покачивая головой, наступил мне на ногу: «Хватит. Экий неугомонный!» На пятом этаже он нажал кнопку звонка. Толстый, одетый уже на службу человек открыл нам дверь.

– Что-то ты долго, – сказал он Евсееву.

– А вот, – засмеялся Евсеев и показал на меня. – Нашего полку прибыло! Спарринг-партнер!.. Проходи, проходи, ноги вытирай и прямо на кухню! Знакомься...

И он затолкал меня в квартиру к приятелю. На кухне у того на столе стояла бутылка «Старки», граненые стаканы, только что мытые, с капельками воды на донышках, а рядом

лежали соленые огурцы, ломти орловского хлеба и серебряная кожа вяленого леща, для запаха.

– Разливай, – сказал Евсеев. – Ба! Да у нас «Старка» сегодня! Одну купил?

– Одну! Как же! Очередь выстоял, – сказал приятель. – Сколько в портфель вошло. На девять забегов хватит.

– Ну давай, давай, лей. А то нам еще бежать. Не то что тебе, лодырю!

Приятель, готовый на службу, разлил водку забытого цвета в стаканы, и один из стаканов Евсеев протянул мне. Стакан я невольно взял, но тут же опросил:

– А мне-то зачем?

– То есть как? Ты не пьешь, что ли?

– Пью... – смутился я. – Но ведь не с утра...

– А зачем же ты тогда бежал? – спросил Евсеев.

Он расстроился и смотрел на меня укоризненно, даже сурово, как бог знает на кого – как на провокатора или на лазутчика. Или хуже того. Как на человека, который только прикидывается пьющим.

– Я для здоровья бежал, – сказал я неуверенно. – Я за тем бежал, за чем ты бегаешь два года...

– Ну! – загремел Евсеев. – Стал бы я бегать, если бы жена разрешала мне пить дома! А приятель мой – холостяк... Стал бы я бегать! К лешему мне этот твой бег! И на костюм вот пришлось тратиться... Семьдесят рублей... Бегать! Фу-ты, дрянь какая! Главное, для здоровья! Вот что для здоровья! И для бодрости! Пей. И не ломайся. Мужик ты или не мужик? Или ты не мужик?

– Мужик... – вздохнул я.

Выпили. Закусили. Серебряную шкурку леща понюхали по очереди.

– Утка – не птица, рыба – не кашалот! – торжественно и смачно провозгласил Евсеев и с упоением потер руки. Удивительно, отчего из его ладоней не вырвалось пламя. Этаким здоровяк, подумал я, он и на руках сможет теперь домой дойти! – Ну вот, а ты ломался, – сказал мне Евсеев с явным одобрением. – Я уж было расстроился... А то, понимаешь, доза для нас двоих была чрезмерная... Мы ведь не для куражу, а для бодрости. Третий нам кстати... Спарринг-партнер... Или ты недоволен?

– Да как-то непривычно...

– Совесть тебя, что ли, мучает, что с утра? Это, брат, предрассудки... Я тебе скажу: с утра – самое полезное... Не мы одни, а и государственные люди тоже... Вот Петр Первый, он, говорят, если с утра стакан не брал, то и Россию не мог на ноги ставить... – А окно-то к ним он подавно не мог рубить, – вставил приятель.

– Ну, насчет окна – это вообще! – подтвердил Евсеев. – Или вот полководцы. Один маршал или генерал, не помню какой...

Тут он рассказал случай про этого маршала или генерала, неизвестно какой страны, то ли нашей, то ли ихней. В общем, про Ворошилова. Однажды он собрал поутру перед сражением весь свой офицерский состав, они стали «смирно», а он грозно их спросил: «А ну, кто пьет с утра, признавайтесь, шаг вперед...» Один только офицерик и шагнул вперед. Тогда этот маршал или генерал, этот Ворошилов, приказал принести два стакана водки, или шнапса, или виски – одна радость! – и с офицериком выпил. И сказал: «Вот с ним и пить и воевать можно! А вы, все остальные, трусы, кого обмануть хотите?...» И выиграл сражение.

– Сколько с меня? – спросил я.

– Когда обычная – рубль двадцать, – сказал Евсеев. – А сегодня – рубль.

– Рубль четыре, – поправил приятель.

– У меня с собой нет. У меня и карманов нет.

– Ладно. Завтра занесешь, – махнул рукой Евсеев. – Нам и бежать пора.

– Бегите, бегите, – улыбнулся приятель.

– А ты не ехидничай, лодырь! – сказал Евсеев. – Сейчас пробежаться – одно удовольствие. Вон какие у меня мускулы на ногах стали. Потрогай.

Но приятель только брезгливо махнул рукой.

Теперь уже Евсеев в лифте чуть ли не бежал на месте. Опять ему было невтерпеж. Сил у меня явно прибавилось. Несомненно, подумал я, в тренировочном методе Евсеева что-то есть. В смысле использования ресурсов человеческого организма. Давно я так легко не бегал. А Евсеев опять был красив. В особенности когда мы выскочили на открытое пространство нашего двора и понеслись по бетонной тропинке под тополями и каштанами. Тут он так элегантно и мощно вскидывал ноги, так порхал, что для меня стал походить на дивного спортсмена, который несется сейчас по праздничному стадиону с олимпийским факелом в руке, чтобы на глазах у миллионов зрителей зажечь пламя в заветной чаше. Может, и Евсееву такая мысль заслонила мозги, потому что и в нашем подъезде он бросился яростно бежать по лестнице, словно лестница эта вела его именно к олимпийской чаше, а не к жене. И я бежал за ним.

Жена Евсеева вышла нас встречать.

– Ну как? – спросила она меня.

– Да вроде ничего, – сказал я, трудно дыша. – Тяжело с непривычки...

– Замечательно, а не ничего! – шумно похлопал меня по плечу Евсеев. – Бодрость-то в нас какая! Слово десять лет скинули! А привыкнешь ты быстро, я уже сейчас вижу. Скоро станешь настоящим спарринг-партнером... Точно! Сейчас вижу...

– Да, да, – улыбнулась его жена. – Слава вот быстро привык. А я ведь и не надеялась, что он станет бегать.

– Значит, завтра на том же месте в тот же час, – сказал Евсеев.

Тут он мне подмигнул и приложил палец к губам: мол, о наших с тобой легкоатлетических секретах никому ни гугу. Я кивнул в ответ: что я, идиот какой, право?..

К себе на этаж я поднимался уже как старик астматик, как каменный командор, расстроенный Дон Жуаном, тяжеленные ноги подтягивал со ступеньки на ступеньку и думал о выражении «спарринг-партнер». Все мне теперь стало ясно. Был я однажды в Перми в командировке. Остановился у стенда «Не проходите мимо». Там висели фотографии пьяниц. И вот что меня удивило. В подписях корили не любителей выпить на троих, как было бы в нашем городе, а «любителей спариться». Вот откуда, понял я сейчас, пошло – «спарринг-партнер». Эта мысль меня взволновала и обрадовала. Не заржавели, значит, мы разумом. Не в одних иностранных словарях искать облегчение мыслям! Есть и у нас еще дотошные умы, способные раздвинуть границы языка и создать новые специфические выражения.

Однако воспоминание о рубле с четырьмя копейками меня сразу же расстроило. Это еще хорошо, что они достали «Старку». А потом-то ведь придется брать «Экстру». Или хуже того – коньяк. Эдак у меня и на пиво ничего не останется!

Э-э, нет! Пошел бы этот Евсеев к черту!

Жена меня встречала так, словно я был актер на эпизодах и вот наконец получил с ее помощью большую роль и теперь возвращался с премьеры. – Ну? Что? Да на тебе лица нет! Что с тобой? Какой-то ты странный...

– Тяжело с непривычки, – сказал я. – У Евсеева очень интенсивные нагрузки. Пожалуй, я с ним не выдержу... Подкосит он, пожалуй, меня...

– Да, он здоровый. Прямо как Алексеев. Тебе бы начинать с кем послабее... Ты подумай с кем... Но ты не бросай, я тебя прошу... Иначе я перестану тебя уважать... – сказала жена с угрозой.

– Хорошо, не брошу... – сдался я.

Я на работе все думал, с кем мне бегать. Все прикидывал, кто из милых моих трусаков пьющий с утра, а кто нет. Ни в ком я не был теперь уверен. И тут я вспомнил о Короленкове. Этот уж точно непьющий, некурящий и даме уступит место в троллейбусе. Подозрительный в общем-то человек. И уж больно педант. Он и в жару ходит в костюме и при галстукке, а из кармана пиджака у него непременно высовывается уголок платка из галстучного же материала. Он уж точно и вилку никогда не возьмет в правую руку и даже самую мелкую кость ни при каких обстоятельствах не проглотит. Такой он весь аккуратный, что лучше бы ему лежать в палате мер и весов. А он что-то конструировал, какие-то вагонные тормоза. Но тормоз Матросова был не его. Знакомые Короленкова, и я в том числе, его не любили, считали, что он себе на уме и похож на Клима Самгина. Но теперь-то именно Короленков и был мне хорош. Недели две назад он и сам звал меня бегать с ним. Привлекало меня и то, что Короленков был совсем не атлет, а такой же, как и я, тшедушный служащий и, стало быть, вряд ли бежал быстро и далеко.

После работы я зашел к Короленкову в соседний дом. Он выслушал меня и, как мне показалось, растерялся.

– Ты же сам звал меня, – сказал я.

– Ну да, ну да, – кивнул Короленков. – Но лучше было бы, если бы ты предупредил меня заранее... Может, ничего и не выйдет... Это ведь тонкое дело...

– Тонкое, – согласился я.

– Ну ладно, – сказал Короленков. – Попробуем предпринять экстренные меры, авось что-нибудь и получится... Завтра приходи ровно в семь. Форма одежды – спортивная.

– В семь? – удивился я.

Неужели, подумал я, Короленков так подолгу бегают? Мы с Евсеевым начали сегодня в восемь, а и то многое успели. Я уж хотел было заявить, что дудки, что в семь мне ни к чему, что с семи пусть бегают мои враги, но почувствовал, что отказываться мне теперь будет неловко. Тем более что я сам вынудил Короленкова предпринимать какие-то экстренные меры. «Какие меры? Зачем? Не надо!» – хотел было я сказать Короленкову, но не сказал, побоявшись сказать глупость. Умный и серьезный вид его меня смущал.

Назавтра в семь я пришел к нему. Захватил с собой рубль с четырьмя копейками и широкий бинт на случай встречи с Евсеевым. Рубль четыре копейки понятно зачем. А бинт, чтобы срочно забинтовать что-нибудь – коленку, палец, руку, голову наконец – и тем объяснить Евсееву причину своего отсутствия. Но я не попался Евсееву на глаза.

Побежали мы с Короленковым. Тренировочный костюм был на нем хороший, эластичный, иноземной выделки. И бежал Короленков хорошо. Тихо. Молчал. Только однажды обернулся ко мне:

– У тебя тоже, что ли, с женой нелады?

– Нет, – сказал я. – Лады.

Он как будто бы мне не поверил. Спросил:

– А чего же ты тогда бежишь?

– А при чем тут жена?

– Хотя да, – сказал Короленков. – Жена в наше время тут действительно ни при чем...

«Неужели, – расстроился я, – и этот стал пить? Тогда рубля-то мне не хватит!» Я уже хотел было захромать, но тут мы протрусили под аркой и выскочили в сквер у трамвайной остановки.

– В седьмой садись, – бросил мне Короленков. – Только не в семнадцатый. Семнадцатый сворачивает в Медведково.

Тут бесшумно и резво подошел именно седьмой трамвай, Короленков неторопливым, но деловым шагом подбежал к задней двери и вскочил в трамвай. И я вскочил в трамвай. И

только когда мы проехали остановку и я с трудом вырвал билет из никелированной челюсти кассы, я вдруг словно очнулся. Куда я еду в этом пустом трамвае, зачем я здесь?

Я хотел было спросить об этом у Короленкова, но он был холоден и строг, меня будто и не знал, и я подумал, что вопросом своим я покажусь Короленкову смешным и инфантильным. Значит, он знает, зачем я в трамвае и зачем я еду. Он человек основательный, у него свой метод бега трусцой.

Через пять остановок мы сошли, и Короленков сказал, что бежать не надо, что тут и пешком три минуты.

Он меня завел в дом с рыбным магазином, и на втором этаже по его звонку нам открыли две барышни. Были они наших с Короленковым лет и приветливые. От одной из них, Оли, я чуть было не растаял. Но это выяснилось потом. Другая, Женя, сейчас же, не стесняясь меня и своей подруги, бросилась обнимать Короленкова, отчего тот смутился и стал поправлять очки. Оля же, улыбаясь, смотрела только на меня и словно бы чего-то ждала.

– Вот... Знакомьтесь... Мой приятель... – представил меня Короленков. – Я вам о нем рассказывал по телефону.

Нас с шумом повели пить чай, и на столе в большой комнате я увидел удивительные сладости, воздушные, бисквитные, песочные, о каких я мечтал в голодном детстве. А теперь они мне и задаром были не нужны. Заметив мое холодное отношение к сладкому и мучному, Оля тут же стала предлагать мне бутерброды с колбасой, бужениной, сельдью в томате, и я от растерянности и по причине гуманитарного образования их брал. Знал, что нельзя. Знал, что бегать с набитым желудком вредно, а нам еще предстояло ехать обратно на трамвае, и тем не менее брал. Тут Женя извинилась перед нами с Олей, сказала, что ей надо кое о чем посекретничать с Короленковым, и увела Короленкова. Я уже говорил, что я человек застенчивый, и, оставшись с Олей, или молчал, или бормотал невнятное и то и дело рвал тонкие нити ее вежливой беседы. А женщина она была приятная...

– Да что это вы все на дверь смотрите да на часы, – не выдержала Оля. – Вы уж за Короленкова не волнуйтесь. У них там свои любезности. Вернется ваш Короленков.

– Я и не волнуюсь...

– Чтой-то вы скучный какой...

– Это я спросонья...

– Столько бежали и не проснулись?

– Надо было больше бежать. На трамвае не стоило ехать.

Тут Оля, видно, поняла, что резкими словами она многого не достигнет, и сразу стала более душевной и доброжелательной. И разговор у нас пошел. Мы обменялись мнениями о Фишере и Спасском и о том, сколько денег каждый из них получил, поделились догадками, почему Доронина ушла из МХАТа и что она еще выкинет, не уедет ли куда в Можайск, говорили и о модах и о продуктах, в частности о гречке. Умный разговор сближал нас, скоро Оля уже сидела рядом и пыталась из рук накормить меня бисквитным тортом. Из-за лишних движений кусок этого гнусного торта упал на мои бежевые брюки и испачкал их кремом и вареньем. Что мне было теперь делать! Мы боролись с пятном горячей водой, солью и химикатами, толку было мало. Попробовал я забинтовать ущербное место широким бинтом, но на ноге у меня появилось черт знает что, какая-то порочная подвязка из эпохи канкана и фонографов Эдисона. Я был сердит. Порой в очистительных хлопотах я чувствовал прикосновение ласковых рук, но пятно действовало на меня сильнее. Лучше бы уж я по ошибке сел в семнадцатый трамвай и уехал в Медведково! Тут появились Короленков с Женей.

– Пора, – сказал мне Короленков.

– Я уж вижу, – проворчал я.

– Вы на меня обиделись? – спросила Оля.

Вид у нее был такой печальный, что мне стало ее жалко.

– Он всегда хмурый, – сказал Короленков. – Он тяжелый на подъем. Нужно время на то, чтобы его растормошить.

– До завтра, – улыбнулась мне Оля с надеждой.

– До завтра, – сказал я.

В трамвае я усердно прикрывал пятно руками.

– Ну как? – спросил Короленков.

– Что как?

– Я не про свою. Я про Олю... Конечно, она с характером. Тут сразу ничего не выйдет. Но и в длительной осаде есть своя прелесть. Впрочем, если бы ты заранее предупредил меня, я бы без спешки подготовил тебе более подходящий вариант.

– Отчего же, – обиделся я за свой нынешний вариант, – очень приятная барышня.

Вообще-то я сидел надутый. Тоже мне фрукт! Не мог предупредить меня, куда мы побегим и поедем на трамвае! Но Короленков и не замечал моего дурного настроения. Может быть, подумал я, две недели назад он и говорил мне обо всем, да я забыл?

К дому мы подбежали тихонечко. Остановились возле его «Жигулей». Он осмотрел машину на всякий случай. – А то ведь растолстеешь с машиной-то, – сказал Короленков. – Ни шагу ведь с ней пешком.

– Да. – Я кивнул.

– Вдвоем все-таки бегать лучше, – добавил он.

– Наверное... – не стал спорить я.

– И ты понял – у них всегда можно хорошо позавтракать... Тоже ведь экономия... Трюфеля она мне покупает к чаю...

– Зачем же их разорять?

– Ничего, – сказал Короленков. – Они женщины самостоятельные, эмансипированные, и зарплаты у них большие.

У своего подъезда он опять остановился и произнес со значением:

– Я знаю, что ты джентльмен, и надеюсь, что никто ни о чем не узнает...

Я только пожал плечами: а то не джентльмен.

– До завтра, – услышал я вслед.

«Ну уж шиш! – подумал я. – Торты, пятна, любезности. Это тяжело с утра. Конечно, Оля – приятная женщина и очень была со мной ласкова, но у меня крепкая семья. Да и вставать к семи, это уж извините!»

От жены я узнал, что мне звонили Москалев с Долотовым, они услышали, что я побегал, и обиделись, что я бегаю не с ними.

– Может, действительно с Москалевым и Долотовым? – задумался я вслух. – А то Короленков гоняет по каким-то пустырям с лужами. Эвон, всю брючину измазал!

Признаться, я и раньше хотел бегать именно с Москалевым и Долотовым, да робел. Уж больно на вид они были спорт смены. Все бегали кто в чем, а они – и в самый мороз – в белых майках. Дети Долотова – юные художники-прикладники – эти майки расписали с помощью трафарета по рецепту журнала «Америка». На майках на спине и на груди получились круги, а внутри этих кругов стояли парни из «Роллинг Стоунз» с гитарами. Вокруг парней были выгнуты слова вполне приличные и самостоятельные, предложенные Москалевым: «У нас здоровыми должны быть не многие, а все». Вот в этих майках Москалев с Долотовым не раз проносились мимо меня, словно срывая на ходу золотые значки ГТО, и у меня сердце обрывалось. Куда же мне с ними тягаться? Однако теперь я был готов бежать и с ними.

Я знал, что они люди серьезные. Оба работали на фабрике по производству карт. Географических, разумеется. Москалев отвечал за то, чтобы на карте число кружочков городов областного подчинения точно соответствовало новейшему административно-территориальному делению. И чтобы ни кружочка больше не просочилось. Эдя Долотов заведовал пуансо-

нами – кружочками – помельче: в его ведомстве были районные города. Недавно, говорили, Москалеву дали важный пост – под его наблюдение попали пуансоны краевых и областных центров. Эдю же хотели посадить на нагретое Москалевым место. За ними теперь был глаз да глаз, и вряд ли сейчас они могли позволить себе бегать по утрам неправильно. Хотя бы и в белых майках. Вот поэтому я за ними и увязался.

Бежали мы назавтра втроем быстро, но недолго. Добежали до бульвара, а там мимо скамеек рванули прямо к газетным стендам, тут и остановились. То есть остановились Москалев с Эдей, а я-то все бежал.

– Вы что? – растерялся я.

– Мы будем читать, – сказал Москалев. – Можешь читать, можешь бегать, а можешь сесть на лавочку и ждать нас..

– Садись, – сказал Эдя. – Ноги побереги. И, будь добр, последи за временем, а то мы зачитываемся.

Однако я не хотел сидеть. Кругами, кругами я стал обегать газетные витрины. А Москалев с Эдей все читали. Москалев встал к «Советской России», а Долотов к «Сельской жизни». Читали они все подряд, с первой колонки и до последней, и видно было, что наслаждались. Я устал, сел. Чудесные все-таки люди, думал я. Они не только сами читали, но и друг другу помогали узнавать о событиях.

– Эдя! – кричал Москалев. – Ты можешь мне поверить, в Кировограде исчезли из продажи кительные коврики!

– Надо же! – удивлялся Эдя. – Что делается-то! Сейчас приду прочитаю. А я про Уганду... Нехорошо у них на границе-то, нехорошо...

– Да... В Уганде, да... все каверзы... – покачал головой Москалев. – Я скоро кончу, я здесь одну заметку оставил на десерт. Про зайца-людоеда.

– Про зайца-людоеда и у меня есть, – обрадовался Эдя. – И про Боброва...

– Что про Боброва? – встрепенулся Москалев. Странно, но они не замерзали, а я замерз и снова стал бегать.

– Да брось ты! – крикнул мне Москалев. – Иди лучше почитай «Лесную промышленность». Мы не успеем. А ты нам по дороге расскажешь.

– Как же! Сейчас! – сказал я. – Я неграмотный.

Они перешли на другие газеты. Потом на другие. Потом наткнулись на кроссворд. Достали ручку и стали заполнять клеточки, не замечая стекла.

– Помогите! – крикнул мне Москалев. – Щипковый инструмент... Ну?

– Щипцы, – сказал я.

– Да нет! Больше букв.

– Ну пассатижи...

– Да нет, – чуть ли не застонал Москалев, – музыкальный щипковый инструмент.

– Время! – обрадовался я. – Взгляните на часы. Скоро нас будут ждать на работе.

Домой мы бежали резвее. Оказалось, что Москалев с Долотовым всегда зачитываются и опаздывают, и я, третий, очень нужен, пусть и отказался от «Лесной промышленности». Они и на бегу говорили о политических событиях дня.

– А дома вы что, не можете читать? – спросил я. – Навыписывали бы газет и читали бы.

– Дома! – рассмеялся Эдя и, поглядев на меня, повертел пальцем у виска. – Дома у нас жены.

– Витя, убери газету! – сказал Москалев голосом жены. – Какой пример ты подаешь за едой сыну!

– Да, Витя, – согласился я. – Жена у тебя тигра.

– Чем меньше мы бываем с ними, – сказал доверительно Эдя, – тем оно вернее... А газеты-то мы выпишиваем...

– Еще чехлы к мебели заставит прибивать. Или шубу колонковую выгуливать на балконе. Или хуже того – надевать пододеяльники, а углы у них склеились, бьешься, бьешься и все на свете проклянешь!

Насчет пододеяльников я не мог не согласиться с Москалевым... Но вот мы были уже у моего дома, я встал, а они с Эдей понеслись дальше, и снова я увидел на их спинах хорошие слова: «У нас здоровыми должны быть не многие, а все». Грустный, я прощался с милыми моему сердцу спортсменами.

На следующий день я совершил мужественный поступок. Я побежал один. А ну их всех, решил я.

Сначала я робел и спотыкался, а потом забыл обо всем. Утро было чудесное, сухое, желтые листья устилали ставшую твердым камнем грязь. Шаги мои были упруги, за три дня я привык к бегу, да и раньше когда-то я любил бег. Мышцы ног поначалу болели после прошлых пробежек, но такая боль была приятной, стало быть, мышцы крепили. А потом и боль прошла. Все было прекрасно теперь – и голубое с седой печалью осеннее небо, и тихие переулки Останкина, и мой бег, легкий, как полет, и сам я, видимо красивый и сильный сейчас, и радостная свирель, будто бы летевшая невидимой надо мной и жаворонком удивлявшаяся моему бегу.

– Смотри, смотри, чучело-то какое бежит! – услышал я и обмер.

Ранний школьник, портфель бросив под ноги, стоял и показывал на меня пальцем:

– Вон, вон, дядька бежит, геморрой лечит!

Что я тут мог? Сказать мальчику, что он не прав, что пионеры таких и слов знать не должны, что пусть геморрой лечит его отец, или просто надавать негодяю по шее? Ничего я не сделал. Просто с трудом добежал домой, и все. Свирель утихла, кто-то разломал ее об колено и выкинул в Останкинский пруд.

Стало быть, все. Стало быть, один я не могу.

Я уже и совсем хотел было отказаться от затеи, но жена опять сказала, что она перестанет меня уважать. Да что жена? Я сам бы перестал себя уважать. Я действительно тяжелый на подъем, но уж если что начал, так меня не остановишь. Я упрямый. Бегать так бегать. Только с кем?

Я всю ночь не спал. С кем же бегать-то? Мне казалось теперь, что у всех знакомых трусаков есть свои маленькие тайны. Миша Кошелев, думал я, наверняка бегают играть в преферанс. Дунаев, тот, по-видимому, носится чинить машину, он и вечером лежит под ней. Ося? Ося – не знаю. Но бегают Ося в кожаном пиджаке и с погашенной трубкой во рту и от одного этого кажется таинственным и сверхчеловеком. Вот Каштанов, тот наверняка просто бегают, но уж больно он скучный. Так я перебирал всех своих знакомых и ни на ком не мог остановиться. Москалев с Долотовым отпадали. Газеты я могу читать и на работе. Короленков тоже. Оля хороша, но жена мне друг. Оставался Евсеев. Его, что ли, терпеть? И чем больше я ворочался, чем больше думал о нем, тем все увереннее приходил к выводу, что его стиль бега мне наиболее близок. «Да чего там, – говорил я себе, – вот и полководцы с утра не брезговали... Маршал один или генерал». Что же касается пива, то я решил за обедом экономить на салатах, вот и на пиво у меня останется. С тем я и заснул. Утром я надел спортивный костюм, взял пять рублей и пошел вниз. Я услышал, как Евсеев запел: «А мы их, брат, дави-и-ить!» – и побежал по лестнице. И тут я сломал ногу.

1972

Субботники

1

Жилось плохо. Полоса мокрых дождей со снегом. Напишешь что-то, прочитают, наберут, а потом – в разбор. С просьбой о просветлении текста. Жена угодила в больницу, и надолго. На троих в месяц выходило семьдесят рублей. А тут субботник. Или внеси червонец в фонд. Или прояви себя в деле. Иначе засомневаются – со всеми ты или бредешь один и неизвестно куда. Колебания вышли краткими, полезнее для семьи и народа было идти куда направят. А местом приложения гражданских усилий моим коллегам издавна был определен зоопарк.

2

В субботу к восьми утра я поехал в зоопарк. Апрельский день был сырым, лил дождь, трамвай выбрызгивал воду из стальных пазов, полагалось бы взять зонт, но с зонтами в бои не ходят. «Сегодня мы не на параде», – слышалось из динамиков по всем путям движения транспорта из Останкина к Грузинам.

Бывалые люди в плащах, резиновых сапогах втекали в служебную калитку хозяйственного двора на Большой Грузинской. Выглядели они невыспавшимися, обиженными – в цехе у нас больше сов, – терли глаза и позевывали надменно, как бы с намеком на внутренние свободы и независимость. Впрочем, все давали понять, что явились сюда, хоть и отодвинув бумаги, для вечного, но с ощущением долга. Знакомых я увидел мало, а вот поэт, как он сам рекомендовал себя – южно-рыльского направления, Болотин шагнул ко мне.

– И у тебя, что ли, десятки нет? – спросил Болотин.

– Нет, Красс Захарович. Вот я и...

Я смутился, будто бы оправдываться был намерен насчет десятки; птичий глаз Болотина оживился, но тут же погас. Болотин был вял, губы облизывал, и я понял, что нынче он меня не одолеет. И крепость не возьмет.

– Ну и правильно, – кивнул Болотин. – Главное, проследи, чтобы тебя в списке не пропустили. У нас, сам знаешь, все идиоты и растяпы.

Красс Захарович скривился и сплюнул.

– А у кого список-то?

– У бригадирши, вон, в брезентовом плаще, Анны Владимировны, переводчицы.

Я поспешил к списку, потоптался среди последних и, убедившись, что меня внесли, вернулся к Болотину.

– Первый раз, что ли? – спросил Красс Захарович.

– Первый... А вы?

– Бываю тут... Через год захожу... Надо иногда надзирать над фауной. Хотя и так видишь каждый день вокруг себя всякое зверье и насекомых гадов. Вонь и смрад, вой шакалов. Вот и ты. Но ты хоть ладно, похож на бобра. Или на енота. Можно и терпеть. А возьми Феклистова.

Феклистов был редактор и критик, Болотин прежде с ним дружил.

– Этот точно – игуана, есть такая ящерица в Западном полушарии, дикари с голода жрали, и тех рвало. Эдаких-то и надо сюда, и немедленно, в клетки, я тогда бы каждый день ходил на субботники! И в морду бы им морковь тыкал! А освобожденных отсюда тварей – кандалы прочь! – развести бы по кабинетам и столам! Впрочем, какой и от них толк! Тоже мразь и убогость! И создатель наш так называемый убог! – Тут Красс Захарович голову вскинул и пальцем с чернильными пятнами на нем, дождь презрев, чуть ли по небу не постучал, желая нечто с горних высот низвергнуть. – И создания его убоги, лживы и жалки!

Красс Захарович имел прозвище «Кургузый», лицо его вызывало у меня мысли о моченом яблоке или хотя бы о торговце мочеными яблоками, бывшем банковском служащем, в часы одиночества мучающем ливенской гармоникой «Чардаш» Монти. Однако не раз он производил себя в Исполина, должного крушить небеса.

– Зачем вы себя-то браните, Красс Захарович? – не выдержал я. – Ладно мы. Но ведь и вы – создание.

Красс Захарович будто опомнился, притих. Но тут же скорострельно спросил меня:

– Чем мы, люди-человеки, отличаемся от животных и растений?

– Красс Захарович... – развел я руками.

– Ну чем, чем, грамотей?! Инженер душ!

– Красс Захарович, это, возможно, вы инженер, а меня увольте...

– Ну что, что приобрели-то мы со всеми нашими утопиями, Томасами Морами, партиями, трудом, склоками, казармами, чего нет у багамских вивей и пятнистых мокриц?

Возникший возле нас минутой назад маринист Шелушной, вечно радостно-удивленный, испугался и отступил с намерением сейчас же размежеваться:

– Категорически и всегда! Я тебя не понимаю, Красс Захарович, нынче всюду марши, души наши как воздушные шары, готовые взлететь, а ты...

Красс Захарович оценил слова приятеля матерным белым стихом.

– Все. Приступаем, – услышали мы голос бригадирши Анны Владимировны. – Фронт работ назначен, милостивые хозяева снабдят нас инвентарем, и мы разойдемся по участкам. Кто, куда и с кем – говорю...

Шелушной отступил от нас еще на шаг, давая понять, что никакие силы, никакие пироги не заставят его идти на один участок с Болотиным. А мужик он был бравый, с наколкой на левой руке, свидетельствовавшей о прохождении службы на крейсере «Бурный». Ерепениться он ерепенился, однако производственная необходимость совместила его на одном участке именно с Болотиным. «Возле слонов», – было объявлено. Назвали и мою фамилию. Мне вместе с Шалуновичем и Берсеневой следовало начинать у водяных животных.

Милостивые хозяева прежде выдали нам ломы, лопаты, носилки и брезентовые рукавицы. Они, хозяева, были чрезвычайно предупредительны, они, казалось, были готовы и все работы выполнить за нас, но тогда бы случилось искажение порывов и идеи. От водяных животных нам предстояло перейти затем к хищным. В сопровождающие нам определили зоолога Дину Сергеевну, и мы пошли. «Не спешите, – кротко улыбнулась нам Дина Сергеевна. – У нас еще будет время». Шалуновича, выяснилось, я встречал в чьем-то доме, знал его переводы Верлена, он был мне приятен. Мы уложили на носилки ломы и лопаты, светская дама Берсенева, пребывающая в тайном возрасте и жанре, доверила нам нести свои брезентовые рукавицы, а сама шествовала впереди, взяв под руку Дину Сергеевну, и, будто Капица телепатриотам, что-то рассказывала ей, рассказывала... «Вы не поверите! – обернулась она к нам. – Нашего моржа зовут Бароном. Какая прелесть!» Возразить ей мы не могли.

Зоопарк стоял смиренный и тихий. Конечно, город по-прежнему возбуждал население музыкой пламенных моторов, кричали птицы – просто так или со смыслом, какие-то звери лаяли, выли или вздыхали, тишина и смиренность зоопарка были внутренние. Зоопарк будто притих в некоем ожидании или сосредоточенности. Я давно не заходил сюда. Но здешнее место держалось в памяти шумным, с движением толпы, с радостями детей, с простодушными от неведения забавами молодняка. Нынче взрослым было не до прогулок, дети еще спали, ко всему прочему зоопарк жил по зимним порядкам: существам, каким северные прохлады были неприятны, полагалось пребывать пока в помещениях. Они и рыла не казали. А те, кто был в шерсти, в мехах, в дубленой коже, кто сносил московские непогоды, именно присмирели в своих домах и конурах, в углы забились или прикинулись спящими, чтобы не мешать. Понимали, что не они сегодня здесь главные, а главные – двуногие с носилками, ломы, лопатами, граблями, и им дано осуществлять всеобщий подъем благонаравия живых организмов.

Так мне казалось. По крайней мере, этим я объяснял себе притихшие клетки и словно бы пустые вольеры. Но вот мы приблизились к водоемам и лежбищам. И здесь было пусто и тихо. Белые медведи не бродили по льдинам, палатка Папанина не виднелась в дальней студености. Дождь лил по-прежнему, я подтянул «молнию» куртки к подбородку. Дина Сергеевна, похоже, стояла в смущении, она смотрела в бумаги, сверялась с местностью и не находила в Баренцевом море остров Колгуев. «Бессонов!» – кликнула она. Явился Бессонов, местный служитель, мужичок в плащ-палатке, обликом своим сразу же не потрафивший лирическим интересам светской дамы Берсеневой.

– Бессонов, где же тут куча, камни, щепка, отбросы и куски асфальта? – строго ткнула пальцем Дина Сергеевна в бумагу.

– А убрали, – сказал Бессонов.

– Когда?

– А позавчера. Машина пришла – и убрали.

– Как же так! Что же вы!.. – взволновалась Дина Сергеевна. – Будто вредители! Вам же не велели убирать да суб боты!

– Ну забыли, – виновато сказал Бессонов. – Лежит с осени всякая дрянь... А тут машина пришла...

– Слов нет! Нет слов! – Дина Сергеевна чуть ли не плакала. – Что же им теперь делать?

– Да, милый! – радостно заявила Берсеньева. – Что же нам-то теперь делать?

Бессонов размышлял медленно и совестливо.

– А вот, – сказал он. – У них ведь ломы? Ломы. А тут лед. Прямо возле Бароновой ванны, сверху грязный снежок, а под ним лед. Пусть колют ломками и вон туда носят, оттуда машина заберет...

– Он ведь сам растает... – задумалась Дина Сергеевна.

– Это когда растает, – сказал Бессонов. – Тут тень. И от Барона холод. Все равно что полюс. Это он к троицыну дню растает. А им на два часа дел хватит.

– На два часа? – не поверила Дина Сергеевна. – Ну, если на два часа, это в самый раз. Это хорошо. Ты, Бессонов, объясни товарищам, что и как, а я пойду к хищным. Вдруг и там подъезжала машина...

И вот мы с Шалуновичем с трепетом в душах взяли ломы и принялись долбить лед у каменного опояса обиталища моржей. Ученая табличка на ограде представляла Барона как животное семейства моржей отряда ластоногих, далее шли термины латинские и справочные слова. Светская дама Берсеньева скинула пухлую красно-синюю куртку, и оказалось, что на ней блестящий, сжавший плоть костюм, то ли для горных лыж, то ли для бобслея, то ли для подводных охот. А может, и для космоса. Женщина была обильная, но стройная. Дождь ее не пугал. «Вы сноровистые мужики! – похвалила нас Берсеньева. – Я буду вами творчески руководить». «Не надо, – сказал Шалунович неожиданно строго и неучтиво. – Вы отдыхайте». Он, видимо, был знаком с Берсеньевой. Берсеньева фыркнула и вынуждена была вступить в собеседование с Бессоновым. А Бессонов все еще сострадал нам, все еще бранил себя за оплошность.

– Забыл вот. Помнил, что надо оставить. А забыл. Надо бы мне сегодня, дураку, хоть со своего двора принести ведра три мусора.

Он смотрел, как мы, доходяги, ухали ломками, и горестно качал головой. Я ощущал его желание сейчас же схватить лом и переколоть весь лед. Но делать этого было нельзя.

– А где ваши моржи? – поинтересовалась Берсеньева. – Где ваш хваленый Барон?

– А там, – махнул рукой Бессонов. – Барон – там.

Тут, словно бы дождавшись предусмотренного этикетом запроса, явился из вод морж Барон, вылез, выбрался на мято-серый бетонный берег, должный изображать льдины, разлегся, фыркнул, смотрел на наши труды. Я давно не видал моржей живьем, с детских лет, наверное, а может, в ту пору моржи до Москвы и вовсе не доплывали. Во всяком случае, мне отчего-то казалось, что моржи должны быть черными, а бивни иметь белые. И громадными представлялись мне моржи. Барон в громадины не годился. Ну метра два с половиной в длину, а то и меньше. А бивни у него были скорее желтые, причем левый – короче правого. Шкуру же он носил гладкую, почти без шерсти, бурую, боровиковой, что ли, масти, всю в складках-морщинах. И по шкуре этой на спине Барона шли пятна голого розового подкожья. «Фу-ты, пропасть какая!» – расстроился я. Морж Барон был дряхлый и жалкий. Впрочем, возможно, жалкими казались и мы ему. Барон, положив морду и бивни на ласты,

смотрел на нас скучно и высокомерно. «Что вы с собой делаете-то? – виделось в его глазах. – И с нами». Мы с Шалуновичем словно бы сжались, ломы опускали вразнобой, несовершенство мира тяготило душу. А потухшую было Берсеньеву явление Барона, несомненно, ожило. «Милый, хороший, да какой же ты красавец! – слышали мы. – Иди ко мне на ручки! Иди сюда! Мальчик мой!» Барон посмотрел на Берсеньеву, идти на ручки не пожелал, отвел взгляд. Берсеньева не смутилась, она опять вступила в беседу со служителем Бессоновым. «У меня сейчас по диете, – открывала она свои бездны Бессонову, – час восхождения. Но что поделаешь, если в стране такой день». Она говорила, а Бессонов молчал. Но, возможно, обращаясь к нему, она имела в виду и иного слушателя. Но не нас же с Шалуновичем. Неужели Барона? Отчего же и не Барона? «... а вечером, уже вне диеты, – доносилось до нас, – сеансы медитации... но сегодня исключено, вы понимаете...» Бессонов кивал. «... хотя отчего же пропускать день, ведь войти в сущностное и высокое можно и с помощью бессловесных тварей, пусть и арктических, пусть и ластоногих, почему нет? В особенности если кому-либо из них дано принимать и передавать сигналы энергии, да, это так, отчего же и не попробовать...» Бессонов не возражал. «Иные убеждены, что в медитациях главное – духовное, свет, восторг и упади на колени; нет, нет, не менее важны и ощущения любви, причем и чисто физические, чувственные, секс. Да, и секс, и непременно секс, а как же, вы мне поверьте. У вас есть свой домашний гуру?...» Бессонов закурил. «Между прочим, я знакома с самим Станюковичем... или Стасюлевичем... или Степуновичем... Это они все заварили в сортировочном депо, я у них была – великий почин, вымпелы, подарки, бригады, мы ремонтировали электрические локомотивы, я там горела, я с детства, еще с пионеров, это любила, мне бабушка говорила: ты у нас общественница, красная шапочка, пионер, не теряй ни минуты, никогда, никогда не скучай, с пионерским салютом, ты всегда с пионерским салютом утро родины встречай, раз, два и – четыре! Теперь мне надо делать упражнения для талии и для пресса, у вас нет обруча? Ну тогда я так, вращения бедрами и грудью, раз, два и – четыре, ах, Барончик, иди сюда! Ну, иди, милый, я возьму тебя на ручки, ах, Барончик, какой же ты несносный, мальчик ты мой...»

– Она не пойдет, – сказал Бессонов.

– Кто она? – Берсеньева не прекращала движений.

– Барон. Она гордая.

– Барон – морж!

– Морж, – согласился Бессонов. – Самка-морж.

– Но как же так! – возмутилась Берсеньева. – Как посмели назвать самку Бароном?!

– Мало ли как. По глупости. Они, когда ее грудной от мамы отнимали, подумали, что это Барон. Делов-то.

– Гадость какая! Уродина какая! От нее ведь, наверное, и заразиться можно. От этих мерзких лишаев! – Берсеньева стояла, оскорбленная подлым обманом, ладонь о ладонь терла, будто только что носила Барона на руках. – У вас хоть мыло есть?

– Есть, – сказал Бессонов. – Дома есть.

Мы тем временем с Шалуновичем раскололи весь дарованный нам материковый лед и на носилках оттащили его к месту ожидаемого прибытия автомобиля. И тогда у самой ограды взорам Бессопова открылся неожиданный клад, от чего служитель чуть ли не пустился в пляс. «Ну вот, а Дина Сергеевна ругалась! А тут для вас еще какие глыбы!» Оказалось, прошлой осенью здесь ломали низкий каменный бордюр, развалы его полагали убрать к ноябрьским, но никто и не подумал убрать, они перезимовали в уюте под снегом и льдом и вот теперь вовремя обнаружили. «Подарок-то вам какой! – радовался Бессонов. – А Дина Сергеевна ругалась!» Пришла Дина Сергеевна, и она обрадовалась. Однако следовало, и немедля, идти к хищникам, там есть что делать. Мы с Шалуновичем ударниками первых пятилеток бросили клич: «Время, вперед!» – и за сорок минут отволокли осенние обломки

в надлежащее место. «Ну, спасибо, спасибо, уважили, мастеравые, – благодарил нас Бессонов. – И вам, женщина, спасибо». Берсеньева поскущела, потеряла возраст, взглядывала на Барона с брезгливостью и будто бы грубость желала отпустить этой плешивой ледовитой самке, ошибке заготовителей-звероловов. Бессонов покачал головой, пообещал Барона покормить, но моржиха не поверила, дернулась, чуть ли не подскочила и скрылась в пучинах бетонного водоема.

3

А Дина Сергеевна повела нас к хищникам. И именно к хищнику тигру Сенатору. «Тоже небось самка!», – поморщилась Берсеньева. «Это Сенатор-то? Ну что вы! – улыбнулась Дина Сергеевна. – Это кот. Котьяра настоящий!» «Ну если так, – весенняя свежесть возвращалась к Берсеньевой, – я сейчас же войду к нему в клетку!» Но в клетку к Сенатору (тигр амурский и т. д.) никого не направили. Да и не надо было беспокоить животное. Сенатор спал. Дина Сергеевна передала нас служителю Василию, а сама отбыла, возможно, на другой фронт. В отличие от Бессонова, Василий был здоровенный малый, лохматый, веселый, в расстегнутом ватнике, он то и дело похихатывал и почесывал грудь, украшенную чайной мельхиоровой ложкой на цепочке. Похихатывал он, наблюдая и наши неловкие с Шалуновичем усердия, и ритмические удовольствия Берсеньевой. Порой, казалось, он подмигивал нам: «Баба-то какая шальная и моторная, чего вы, мужики, теряетесь-то?» Мы удивлялись молча: «А сам-то?» – «Да вроде старье. А впрочем, посмотрим, если не возражаете», – отвечал он. Сама же Берсеньева недолго выбирала, кому оказать честь, кого произвести в поклонники. Фаворитом ее стал Сенатор. Впрочем, и Василия она совсем не отвергла. Тем более что Сенатор спал. Мы же с Шалуновичем занимались делом привычным – опять ломы и лопаты, опять носилки, опять лед из-под грязного снега, какие-то булыжники, обломки и среди прочего – две мятые целлулоидные куклы. Таскали мы прошлогодние залежи метров за пятьдесят, туда в кучу уже сволок кто-то приобретения не лучше наших. «Вот ты, Василий, этого не понимаешь, – слышали мы, – вот тигр, он и родится красивый, а человеку надо создавать себя... нет, не говори мне комплименты, к тому же со мной случай особый, однако же и я стараюсь... безвозмездный труд на благо всех – это свято, устану до изнеможения, а все равно пойду сегодня на корт... телефон я дам, ты запишешь на ватнике? Это прелестно, а он даже не ревнует, этот негодный Сенатор, ух какой красавец Сенатор, ну проснись, милый, мальчик мой, нет, он притворяется, он, конечно, не спит, он все видит, он страдает, в нем переселенная душа Принца, нет, Кларка Гейбла, нет, раз он Сенатор, значит, в нем Кеннеди, кто-нибудь из братьев... Нас принимали в пионеры, мне повязывал галстук Шверник, это свято, этого у нас никто не отнимет, я сняла нынче браслеты и перстни, чтобы не мешали труду, и педикюрушу перенесла на завтра... где храбрый танк не проползет, там пролетит стальная птица... и через этого зверя можно войти в сущностное и высокое общение, ну иди ко мне, голубчик Сенатор, ну поговори со мной, разбуди его, Василий, может, палкой его какой ткнуть?..» – «Нет, – хохотнул Василий, – он не проснется!» Дождь прекратился, а мы с Шалуновичем взмокли. Мой кот Тимофей совсем иной масти, нежели Сенатор, но спит он точно как и Сенатор. Лапы под голову, тихое, невинное существо, ребенок. В эдакой позе пардусы вот уже лет семьсот дремлют на белых стенах Юрьев-Польского собора князя Георгия. Но сон котов чуток, и выбирают они для досуга места, с каких можно обозреть ближайшие пространства, чтобы ничего не проспять, а время от времени и открывают в целях инспекции глаз. И Сенатор иногда открывал глаз-желток. Но, кроме светской дамы Берсеньевой, видеть он, похоже, ничего не мог. А Берсеньева старалась, она – естественно, с паузами для бесед – и вращала невидимый обруч, и становилась восточной девушкой, несущей, покачивая бедрами, кувшин на голове, и извивалась в некоем жреческом танце, готовя себя к медитации, была порой красива и заманчива и напевала нечто страстное в надежде вызвать движения чувств переселенных в Сенатора душ, но Сенатор спал. Лишь вздыхал иногда. Открывал глаз и закрывал. А потом он и вовсе захрапел. Но вдруг Сенатор вскочил. Прыгнул, бросился в левый угол клетки, мордой чуть ли не уткнулся в железные прутья, волнение было в его глазах. Поджарый, с нечистой на боках шерстью, он будто молить был кого-то намерен. Мимо клетки Сенатора шла женщина. Женщина не взглянула ни на Сена-

тора, ни на нас. Лишь что-то коротко бросила Василию. Запомнил я ее крепкой и круглой. Главным же в ней было фиолетовое наверху, способное укрыть табачный киоск, – мохеровый берет луховицкой вязки. Сенатор по ходу ее шествия двигался вдоль прутьев клетки, уперся в последний прут, стоял, замерев, пока фиолетовое не исчезло за деревьями, тогда он то ли взревел, то ли вздохнул сладостно (были и ноты заискивания – или уважения – в его звуках), вернулся на покинутое им место и рухнул в сон. «Неужели фиолетовое так действует на тигров?» – подумал я. Следовало дома произвести опыт с котом Тимофеем.

– Понятно, – надменно произнесла Берсеньева, она была теперь леди, узнавшая о том, что ее кухарка ворует. – Эта женщина, видно, его кормит.

– Нет, она его не кормит, – хохотнул Василий. – Кормлю его я.

Он взглянул на Сенатора и добавил:

– Но от нее зависит, как его накормят. Она у нас старший бухгалтер.

Все нам назначенное мы исполнили и отправились за новыми указаниями. По дороге Берсеньева говорила, что подумаешь – Сенатор, у нее муж тоже в своем роде Сенатор, ну и что из этого, сейчас он в Люксембурге, в командировке, а тут дело святое, народ в своих прорывах и испытаниях не должен быть одинок. Вблизи хозяйственного двора она, углядев бригадиршу Анну Владимировну, чуть ли не закричала: «Уработались всласть! Но мы бабы, привыкшие к ломам и молоту! Что нам еще назначат?» «А ничего, – сказала Анна Владимировна. – Все. Большое спасибо. Мы свое сделали». «Как все?» – удивились мы с Шалуновичем, нам-то казалось, что главные подвиги и не начинались. «Все, – подтвердила бригадир. – Уже два часа. Штаб ждет донесений». Неподалеку курили Красс Захарович Болотин и маринист Шелушной.

– Аль еще охота раззудить плечо? – спросил Болотин. – Ишь прыткие какие. Кубанские казаки. И так уж небось ломит в руках и спине?

– Не без этого.

– Стало быть, требуется с устатку. Пойдешь в клуб?

– Не могу, – сказал я.

– Ну тогда дай десятку, коли ты с нами брезгуешь. Ведь взял же десятку на всякий случай, сознавайся?

– Ну взял... – проямлил я. – У меня дома сидят голодные.

– Это уже и не смешно. В день всеобщего бескорыстия – откровенная жадность... Это, брат, знаешь...

– Нет, – твердо сказал я. – Не могу, Красс Захарович.

Болотин рассердился:

– Ладно. Это, конечно, мерзко, подло, но ладно. Тогда, чтоб тебе хоть чуть-чуть не было стыдно, ответь все же, чем мы богаче животных. У тебя было время подумать. Ну? Что у нас есть такое, чего у них нет и быть не может?

– Разум, что ли?

– Это мы-то богаче разумом? Рыдайте, люди, рыдайте, посыпайте главы пеплом! Вот сейчас своими словами ты подтверждаешь людскую дурь. Человечи этим занимаются ежесекундно. Ладно, попроще. Что мы такое за тысячелетия придумали, чего нет у животных?

– Неужели телевизор?

– Очки, дурья башка, очки!

– Ну, Красс Захарович, – не удержался я. – Где уж очкам прийти в голову! Именно ваш разум я имел в виду, когда пытался вам ответить.

– Ну так это мой разум... – устало сказал Болотин. Далее он торжественно молчал и смотрел на меня, давая созреть во мне пониманию того, что я ради благоочищения человечества обязан сейчас же вручить Крассу Захаровичу Болотину десятку, а лучше бы – четвертной.

– Нет, не могу. Дома расстроятся.

– Экие мы с Шелушным сироты, – тихо вздохнул Болотин. – Знаешь, разреши тогда почитать тебе свежие стихи. – И он шагнул ко мне с намерением читать стихи – глаза в глаза.

– Нет, не надо, лучше потом! – взмолился я. – Вот вам, Красс Захарович, десятка, и вы с Шелушным идите...

Едучи в Останкино трамваем и пристроив на коленях авоську с буханкой хлеба, пакетом картофеля и пачкой крестьянского масла, купленными на чудесно спасшийся в моих карманах рубль с мелочью, я клял себя за слабость характера и неспособность вытерпеть чтение вслух свежих стихов, возможно и гениальных. Хотя что для устатка Болотина моя десятка... «Этак, – думал я, – мы долго не протянем».

4

Однако протянули и еще год. И апрельским утром я опять оказался в зоологическом саду на красном сборе прилежных субботеев. И опять шел дождь, но работали мы теперь под крышами. Среди прочего надо было на складе доски, прибывшие недавно и сброшенные куда ни попадя, рассортировать, разнести и уложить по штабелям. Доски были сырые, тяжелые и протяженные, как пролонгации договоров. Носить их приходилось вдвоем, а то и втроем. Работы вышли монотонные, приключений не случилось. Берсеневой я не увидел. Возможно, она пошла нынче на передовую. На линию огня. Запомнилось только участие в трудовом подъеме Пети Пыльникова. Имевший опять на меня виды Красс Захарович Болотин был отвлечен именно Пыльниковым. Мы уже час трудились, когда на складе возник Пыльников, пострел и оптимист. «У кого список? – прозвенел он и тут же отметился. – Что пашете-то?» «Да вот, Петечка, доски носим, потом перейдем на горбыль». «Бог в помощь! – сказал Пыльников. – Мне-то бежать надо, а то бы я... ну ладно, пятнадцать минут у меня есть». Шустрый, тощий Петечка был мал – с незабвенного Карандаша, в товарищи по субботнику он определил себе рослых Шелушного и Карабониса. Только они брали доску на плечи, он тут же оказывался между ними, руку левую вытягивал вверх, касался двумя пальцами доски или не касался, добросовестно сопровождал груз к штабелям, а когда Шелушной и Карабонис сбрасывали доску, кричал смачно. Совершив так четыре ходки, Пыльников раскланялся: «Надо бежать, надо бежать, сами понимаете». И был таков. Красс Захарович Болотин замешкался, задержался, но инстинкт самовосполнения все же заставил его броситься вдогонку Пыльникову. Минут через пять Болотин вернулся и снова вызвал у меня мысли о моченом яблоке. «Скотина! – негодовал Болотин. – Жирная свинья! Укатил на своем „мерседесе“! Во всех храмах будет предан анафеме! Тексты его изгонят из трактиров и ресторанов! Ему бы, аспиду, рублей триста со своих-то пирогов и стерлядей внести в фонд, а он попрыгал под досочкой и утек на белом „мерседесе“. Полагает, что Синатра и Лайза Минелли поют его тексты; накость выкуси, Толкунова и та не всегда беретя. Насобачит сейчас что-нибудь вроде „Мы кузнецы, и дух наш молод...“! „Ничего не дал?“ – теряя надежду, спросил Шелушной. „Мало дал! – заявил Болотин. – И так дал, будто думал не о всеобщем братстве, а о прожиточной рифме. Еще и оскорбил. Жирная свинья! И не только свинья, но и мышь-землеройка! И его надо держать здесь, в клетке, рядом с тобой!“ „Но одолжил все-таки“, – обрадовался Шелушной. На всякий случай я носил доски подальше от Болотина и уцелел. День закончился благополучно. И пристойно. Если не считать мордобитий в пивном автомате на Королева, куда я заскочил промочить горло. Отчего-то после трудов на субботники люди в автомате бывали особенно раздраженные и грубили друг другу без всяких на то причин...

5

В третий раз я приехал в зоопарк бывалым закаленным бойцом. Весна вышла теплой, снег стаял, ночью, правда, морозец задубил землю, но небо было ясное, улыбочивое. На хозяйственном дворе в толпе субботеев я увидел начальника штаба по проведению Мысловатого. Он тут же указал на меня пальцем:

– А вот и он! Вот вам бригадир!

– С чего бы вдруг? – удивился я.

– Анна Владимировна заболела, – сказал Мысловатый, – а вы, как я слышал, заслуженный ветеран. Все здесь знаете. Будете бригадиром. Дело государственное.

– Бригадиром так бригадиром, – согласился я. Слова «заслуженный» и «государственное» кумачовым кушаком спеленали меня как гражданина. И знал я, что делать бригадиру. Как я ошибался...

– И вот что, – положив мне руку на плечо, Мысловатый направил от бригады в сторону. – Самым существенным для вас должно быть...

– Работа, – проявил я свою осведомленность.

– Работа? – поглядел на меня Мысловатый и поправил очки. – Да, работа. Конечно, работа... Но это для бригады. А для вас... Вы зайдете к директору или заму, они выправят документ, они сделают, они знают. Но вы, будьте добры, проследите, чтоб там было «выражаем благодарность» и человеко-часы. Вы меня понимаете?

– Понимаю, – неуверенно сказал я.

– В два, ну в полтретьего надо иметь сводку. Чтобы снести с районным штабом. А потом и с городским. Тут и нужны человеко-часы.

– Звере-человеко-часы, – возник вблизи почти секретного разговора Болотин. – Опять вы, Красс Захарович, в своей манере, – деликатно, но и с укором улыбнулся Мысловатый.

– А еще лучше – озверело-человеко-часы.

– В какие, в какие часы, Демьян Владимирович, приедет сюда телевидение? – Движением тела нас с Болотиным оттеснила от Мысловатого светская дама Берсеньева, дотоле на хозяйственном дворе невидимая. Ее бы стоило осадить или просто шугануть; но на Берсеневой был недостижимо белый костюм («Белизна ее поразительна, – пришла на ум ковенская полячка из „Тараса Бульбы“, – как сверкающая одежда серафима»), и я в беспокойстве от нее отпрянул – как бы чего не запачкать. В подобной непорочности кителей и фуражках, какие невозможно было унижить пятнами или помарками, вожди стояли на авиационных праздниках в Тушине. А на груди Берсеньева повязала шелковый алый бант, острые углы его напоминали о святом в ее детстве.

– Телевидение сюда не приедет, – сказал Мысловатый.

– Ну или кинохроника, – настаивала Берсеньева.

– И кинохроника. А телевидение... – Мысловатый полистал штабной блокнот. – Будет снимать наших на чтении... Сейчас скажу... На «Серпе».

– Туда Жухарев полетел! Вот стервец! – воскликнула Берсеньева. – Мне сказал, что снимать будут в зверинце. Ну это мы еще посмотрим!

Берсеньева взвилась и исчезла.

– Откуда она? – спросил я Мысловатого.

– Берсеньева-то? – удивился начальник штаба. – Из устного университета культуры. Ну как же. Очень темпераментная особа.

– Кобыла Пржевальского! – сказал Болотин.

– Ну опять вы, Красс Захарович, – расстроился Мысловатый. – Она темпераментная в общественном смысле. И очень отзывчивая на мероприятия.

На хозяйственном дворе нас опять снабдили лопатами, ломами, граблями, ведрами, носилками, рукавицами и посоветовали взять топор с пилой на случай, если из института станут перекидывать. Работать бригаде предстояло на новой территории – через Большую Грузинскую, за пресмыкающимися и гадами, возле обезьянника. На мой вопрос, что делать пилой и что станут перекидывать и из какого института, ответили: «Там сами увидите. Или вам скажут». Возле обезьянника нам открылся пустырь с разбросанными там и тут камнями и хламом. Откуда эти камни, объяснить никто не мог. Главное, пришло время собирания камней. Пока я прикидывал, кого и куда поставить, ко мне подбрели два чужих мужика:

– Командир, а где здесь это?

– Туалет, что ли? – спросил я рассеянно и не подумав.

– Да нет, не туалет. А это... Что с утра...

Я вынужден был взглянуть на вопрошавших.

– Вы, похоже, заблудились, – сказал я. – Вы приезжие?

– Гусь-хрустальные.

В глазах у мужиков была тоска, утреннее желание выжить и непротивление злу насильем. Кроме них, ни один посетитель в зоопарк не забрел. «Неужели в Гусь-Хрустальном, – подумал я в смятении, – отменили субботники?»

– На Шмитовской улице есть пивная, – сказал я, – и у Ваганьковского рынка.

– Все закрыто. До после обеда...

– А тут этого и не было никогда.

Из сострадания я чуть было не подозвал в полезные советники Красса Захаровича Болотина, но испугался, как бы он, натура романтическая, не увлекся и не утек с беднягами в Гусь-Хрустальный. А мужики с тоской в глазах побрели в невинные дебри зоологического сада. Болотину же я строго указал места сбора камней и всех призвал к усердиям. Усердствовать, правда, приходилось не спеша, чтобы все камни и обломки сразу не перетаскать. По списку в бригаде числилось сорок три человека, шестнадцать из них (и Петечка Пыльников!), записавшись, тут же и рассеялись по неотложным заботам; но и двадцать семь были силой. Поначалу я, по дурости, не сдерживался, проявлял бестактность и укорял казавшихся мне нерадивыми. Скажем, увидел, как две барышни из аппарата, кряхтя и постанывая, подняли по камню с огурец-корнишон и понесли их, надрываясь, губя здоровье, и осерчал на них вслух. Они удивились, свободными пальцами повертели у висков. Я растерялся. Я-то полагал, что если ты явился к делу, то и надо исполнять его по доброй совести. Таким вырос. Впрочем, тут же я и опомнился. Руководитель работ обязан быть стратегом и соображать, что и когда будет исполнено. А очень скоро мы собрали все камни, хлам и возвели субботную горку. Был призван один из ответственных хозяев, он, постояв минут пять в смущении и раздумьях, сказал:

– А может, этой горке-то удобнее возвышаться в другом месте, вон там, у обезьянника?

– Конечно, – обрадовался я. – И удобнее, и красивее. А если и там выйдет нехорошо, мы подыщем и третье место.

– Без всяких сомнений! – согласился со мной советчик.

Краем своим пустырь утыкался в бетонную стену, за ней скучно стоял дом с явно учрежденческими занавесками в окнах. За стеной происходило вялое торможение, нас не раздражавшее, порой с перебранками – их дело. Всюду, как известно, жизнь. Но вдруг там то ли кого-то огрели кнутом, то ли пообещали немедленный отдых на Сейшельских островах, только за стеной засвистало, задергалось, загрохотало, а в суверенные пределы нашего зоопарка стали перелетать неправильных форм деревянные ящики канцелярских столов, связки бумаг и конторских журналов, чертежи какие-то и даже черные измызганные халаты. Оставив попечителем перемещения камней бывшего моряка Шелушного, я бросился к забору:

– Что вы делаете! Прекратите сейчас же!

– Замолкни, дядя! У нас субботник! Нам нужно очистить государственную территорию от лишних вещей и людей!

– Зверей-то хоть пожалейте! – совсем уж растерянно ляпнул я.

– А чего жалеть твоих лимитчиков-то!

– Каких лимитчиков?

– А кто же у тебя сидит в клетках? Одни лимитчики. Понаехали в Москву, отхватили жилплощадь в центре города, живут на всем готовом. Оккупанты! Сукины дети! Зверье! И ты небось такой же лимита!

И на голову мне опустился тюк с паленым тряпьем.

– Мы вам сейчас не такое перекидаем! – разозлился я. – Мы вас сейчас навозом забросаем из-под мускусных крыс, аллигаторы нынче поносят, и это сейчас на вас польется. Есть у вас начальник штаба? Давайте сюда начальника!

– Ну есть начальник, – услышал я. – Ну я начальник. Насчет навоза вы всерьез, что ли?

– А то не всерьез!

– Сейчас. Ставлю ящики. Поднимаюсь на переговоры.

Через минуту сверху глядел на меня губастый Герман Стрепухов, листригон и торопыга, в мятой, надвинутой на брови зеленой колониальной панаме.

– Ну и где ваш навоз?

– Трепыхай! – закричал я. – Герка!

– Елки-палки! Это ты, что ли? – И Герман Стрепухов чуть было не обрушился в зоопарк в порыве нежных чувств к однокласснику.

Мне тут же перебросили три ящика, сбитых из мелких досок, я влез на них, мы с Германом обнялись. Я не видел его лет пятнадцать, что не редкость в Москве, слышал только, что он защитил докторскую, работает в каком-то НИИ, а по вечерам играет на банджо. Перебросы предметов на время переговоров прекратились, Герман пригласил меня на свою территорию отметить день, снабженцы уже вернулись, с сосудами, но я, памятуя о человекочках, отказался. «А что касается наших посылок, – сказал Герман, – то вы дуетесь зря. Мы всегда перекидываем – какой же без этого субботник, здесь уж привыкли и понимают. У вас вон какие просторы, а у нас ущелья во дворе и сжечь негде. Вы костерок с шашлычком из какого-нибудь тапира устройте, топором и пилой раскурочьте стенки шкафов, пилу-то вам небось выдали, вон у вас у камней костер уже затевают; зря, конечно, я дряхлый сейф для взносов велел вам направить, он-то не сгорит, кабы я знал, что ты тут, ну да ладно, они сами куда-нибудь его пристроят». Расстались мы с Германом Стрепуховым хорошо, договорились созвониться и посидеть. Уже собравшись спуститься с ящиков, он вдруг вспомнил: «Погоди, а из-за чего я сюда полез-то? У меня и времени не было. А-а! Из-за навоза! Где навоз-то? Ты шутил, что ли?» «Не шутил, – сказал я, – а страшал». «Нашел, чем страшать. Мы давно все перепуганные, однако живем. А навоз мне вот так нужен. Жена элеутерококк на даче затеяла разводиться, к нему бы навозу... Эка ты меня расстроил. Я ведь человек доверчивый, вот и полез. Ну ладно, посмотрим. Подумаем. Салют. Созвонимся!»

Действительно, возле переехавшей ближе к обезьяннику альпийской горы умельцы устраивали костер. Институтские бумаги и деревяшки пошли в дело, огонь брал их сразу. В азарте, как всегда радостно удивленный, Шелушной готов был приволочь к костру и сейф для взносов, но я приостановил его предприятие. Устройство костра в зоопарке вообще казалось мне затеей сомнительной. Тем временем на горку полезли поэты. Сухонькая малознакомая женщина лет сорока и мрачно-торжественный Красс Захарович Болотин, в руке у него синел вышедший месяц назад сборник стихотворений и поэм «Очки». Женщина, оглаживая ладонью воздушное пространство перед собой, сообщала нечто о Копернике и его системе. Возможно, она была сама по себе благородная, возможно, ее побудило к тому сопеение ставшего сзади коллеги, но так или иначе через пять минут она представила слушате-

лям Красса Захаровича Болотина. А слушатели объявились, ими стали мужики из Гусь-Хрустального, по всему видно восстановившие подорванное здоровье. Порой Красс Захарович делал паузы, и они аплодировали. Приостановить чтение Болотина я не мог. Да и кто мне давал право душить творческие стихии? К тому же до двух оставался час с двадцатью минутами, а перетаскивать камни в третье место обитания было бы скучно. Тут ко мне подошли два милиционера, лейтенант и сержант.

– Вы, говорят, старшой? – спросил лейтенант и отчего-то приблизил ко рту рацию.

– Я.

Лейтенант помялся. Мероприятие проводилось сегодня особенного воздушного свойства, и с этими особенностями приходилось считаться. Все же лейтенант, деликатно указав в сторону Болотина и костра, произнес:

– Это как? Порядок или беспорядок?

– Культурная программа, – твердо сказал я. – Входит в план проведения. Народ слушает.

– Вы отвечаете? – по-отечески заглянул мне в глаза лейтенант.

– Конечно. Текст канонизированный. Сборник «Очки». Разрешено цензурой.

Сам себе удивляясь, я был готов расхваливать сочинения Болотина.

– Ну ладно, – сказал лейтенант. – С этим ладно. А вот...

– Обезьяны волнуются, товарищ старшой, – покачал головой сержант. – Плохо с ними.

– Как это? – удивился я.

– Под потолки клеток аж все залезли, прутья трясут, ревут, а ведь здоровые обезьяны, шимпанзе, орангутаны, эдак и клетки разнесут, такого с ними не случалось. Беда будет.

– Отчего же это?

– Может, из-за костра? – неуверенно предположил лейтенант. – Дым, может, на них идет? Конечно, субботник, но...

– Если из-за костра, мы его сейчас прекратим. Бумаги, возможно, нам пришлось жечь глупые или бестолковые.

Однако и после закрытия костра обезьяны не успокоились. Сержант то и дело ходил в обезьянник и возвращался к нам с донесениями печальный. Похоже, надвигалась драма. Послали за великим звероводом. Или дрессировщиком. Сержант опять пошел в обезьянник укорять животных. Уставший Болотин закрыл сборник, пробормотал: «Все. Закончил. Спасибо», вызвав шумные восторги слушателей из Гусь-Хрустального. Сержант выскочил из обезьянника, взбудораженный, неся к нам, восклицая:

– Отбой! Успокоились! В один миг все успокоились! Будто чудо какое! На полы слезли, урчат, чешутся. Что случилось-то? А? В один миг.

Я поглядел на Красса Захаровича Болотина, сказал:

– Возможно, в атмосфере протекало явление...

– Возможно, – не сразу и со значением кивнул лейтенант.

В третьем часу я направился в дирекцию за ценной бумагой. Проходил мимо знакомых мне клеток хищников. Как и два года назад, Сенатор дремал. Открыл свой желток, не обнаружил на мне фиолетовой крыши из мохера и зевнул. Но, может, это был и не Сенатор. Принял меня заместитель директора. Принял доброжелательно, но отчасти и холодно. Или – служебно. На вид он был старомоден и, по моим понятиям, походил на лейбориста первой трети столетия. Или даже не на лейбориста, а на угрожавшего республике ультиматумами. Во всяком случае, такие типы встречались в лентах британского кинематографа, и ничего хорошего ждать от них не приходилось. Ироничные жесткие усы, темно-синяя тройка, из жилетного кармана дужкой свисала золотая цепочка часов. После волнений в обезьяннике я ощущал робость мелкого просителя в учреждении. Неизвестно зачем, может полагая, что сделаю приятное хозяину кабинета, я спросил, указав на одно из чучел:

– Иван Алексеевич, это альбатрос?

– Баклан, – сказал Иван Алексеевич. И душевнее не стал. Провел пальцами по чемберленовым или керзоновым усам. – На сколько рублей, на ваш взгляд, вы произвели сегодня работ?

Я вспомнил, как барышни из аппарата поднимали и носили камушки, прикинул, сколько бы я заплатил приглашенному труженику за очищение пустыря, и понял, что более пол-литры он не стоил. Ну еще следовало добавить банку килек и бутерброд с сыром.

– На четыре рубля, – сказал я.

– Это каждый?

– Нет, все.

– Вы шутите! – нервно рассмеялся Иван Алексеевич.

Тут я ощутил, что я не сам по себе, что за мной народ, шелест знамен, ветры, дующие в лицо и спину, гвардия рабочих и крестьян, мечта прекрасная, пока неясная, и обезьяны пускай заткнутся, им еще шагать и шагать за нами, а возможно, они волновались от радости, от приобщения к верхним слоям культуры. И я согласился:

– Да, шучу, каждый на четыре рубля... И потом, просили про человеко-часы... и если можно – слова благодарности... Не обязательно, конечно, но...

– Отчего же не обязательно? Вы, видно, начинающий бригадир... И с чего вы взяли эти четыре рубля? Ну не четыре же! Ну хотя бы пять! Раз уж вы такой несговорчивый. А человеко-часы... Вас было сорок три, работали вы с восьмью до двух, даже до полтретьего... Так что набирается немало. И к тому же на этот раз вы сумели провести культурную программу... Очень будет хорошая сводка. И для вас. И для нас.

Я вдруг почувствовал, что Иван Алексеевич готов подарить мне чучело баклана, а куда бы мне было девать его? Я заторопился. Несся потом к нашему цеховому клубу ветреным, веселым Эротом, устроившим судьбу влюбленных, с намерением передать бумагу начальнику штаба, дело свалить и пойти по книжным магазинам. По моим наблюдениям, в дни субботников в созвучие к маршам и биениям сердец выбрасывали редкие товары и книги. Нынче я приберегу рублей сорок в надежде приобрести мерцающие в фантазиях книги, может и из серии «Музеи мира».

Начальнику штаба Мысловатому бумага пришлась по душе. Он шевелил губами и будто языком желал осознать сумму вклада в районную и городскую казну. «Ничего, ничего. Молодцы. Это же почти полторы тысячи рублей. И культурная программа...» «Откуда полторы тысячи?» – удивился я. «Ну на пять-то рублей каждый из вас наработал не в день, а в человеко-час...» Я начал что-то мямлить. «Нет, нет, не спорьте. Вы человек непрактичный, что, как и почему, вы не знаете, а мы знаем». «За что от зверей-то отбирать такие рубли? Или от нас?» – я все пребывал в удивлении. «Это не от зверей. И не от нас. И это не совсем рубли. Это цифры. Но политические. И они дороже рублей. Это настрой и общее движение. Кстати, кому была адресована культурная программа?» Я назвал слушателей Болотина. «Так, так, запишем, – торопился Мысловатый, – трудящиеся Гусь-Хрустальненского района Владимирской области, работники и обитатели зоопарка, персонал московской милиции. Нет, не зря, не зря вы попали нынче в бригадиры...»

Совсем было утек я из здания, однако у самого выхода меня изловил и задержал Красс Захарович Болотин. Оказывается, пока я добывал бумагу, заслуженная наша бригада никуда не разбрелась, а осела в буфете и закусывает.

– В какие еще книжные магазины! – заревел Болотин. – Старшой всегда ставит бригаде. Но коли хочешь, чтоб тебя занесли в выскочки, подпевалы и надзиратели, тогда катись в свои магазины!

И меня сопроводили к столу.

– Вынимай из штанов все содержимое, – приказал Болотин. – И выкладывай. Оставь три копейки на трамвай.

Я вынул и выложил.

За столом, вернее, за несколькими столами, сдвинутыми в один, сидели и люди, ушедшие из зоопарка рано поутру по неотложным заботам (Петечка Пыльников, пострел и оптимист, тут как тут), и люди, мне совершенно неизвестные. Мужики из Гусь-Хрустального показались мне в их компании чуть ли не родственниками. «Гуси вы мои хрустальные! – обнимал их Болотин. – Бесценные мои!» Мужики были разной масти, и теперь их за столом называли Гусь Белый и Гусь Рыжий. «Сила человек! – сказал мне доверительно Гусь Рыжий. – И имя редкое. Героя гражданской войны. Маршала, что ли?» «Скорее, генерала», – подумал я. «Говорят, против Деникина ходил, а потом был репрессированный...» «Против Деникина вряд ли. Он с другой гражданской войны, – сказал я. – Вы устройте поход в Большой театр, там этого Красса танцует Марис Лиепа». Порывы мои тихим образом покинуть застолье тут же пресекались, люди ехидные и вольнодумцы грозили и впрямь произвести меня в карьеристы и надзиратели, люди мягконравные и без затей просто недоумевали, как я могу прекратить наслаждение. Да еще и в такой день. Пили стремительно, закусывали домашними бутербродами и сигаретным дымом. Гусь Белый теребил Болотина и требовал, чтобы тот спел «Броня крепка, и танки наши быстры...». «Это вы к Петечке обращайтесь, к Пыльникову, – мрачнел Красс Захарович, – это ему в ресторанах отстегивают». Я без горячих закусок и в чехарде тостов был уже нетверд в мыслях и нравственных решениях. Радостный галдеж вызвало явление светской дамы Берсеневой с кастрюлей вареной картошки в руках, кастрюля курилась долиной гейзеров и благоухала. «Из дома, с пылу с жару! – рекомендовала Берсенева (уже в красной косынке и джинсовом комбинезоне). – К вашим жарким сердцам!» Сейчас же возник начальник штаба Мысловатый. Ему существенное наливали и протягивали, но куда важнее был ему я. «Я опросил участников бригады, – быстро заговорил Мысловатый, – и в зоопарк звонил. Все говорят: вы скромничаете. Не на пять рублей в человеко-час. А на десять! Вы там горы своротили!» «Ну уж на десять», – поморщился я. «Что вы такой скупой? Конечно, на десять! И еще, говорят, вы вступали в соревнование и сотрудничество с трудовым коллективом соседнего НИИ». «Ну вступали», – сказал я. «Что же вы раньше-то молчали! Это же обязательно надо отметить. Кстати, и тут, наверное, есть человеко-часы? Итого на две с половиной тысячи рублей выйдет, а то и на все три!» Тремя тысячами Мысловатый меня так ошарашил, что язык мой не смог протестовать. Берсенева подскочила к Мысловатому: ее, а не хама Жухарева снимало телевидение на «Серпе», и все мы были обязаны смотреть нынче последние известия. Но Мысловатый отстранил ее и улетел к телефонным аппаратам с исправленными и дополненными донесениями. Дальнейшее воспринималось мной смутно, но празднично. Помню, что мы действительно ходили к телевизору и видели, как Берсенева вместо сталевара направляла куда-то струю расплавленного металла и говорила потом в микрофон о женщине вчера и теперь, о том, что нынче мы нарастили интеллектуальный потенциал и как важно всюду подставлять безвозмездное плечо. Потом один из Гусей – кастрюля Берсеневой накрыла его голову, – а с ним и барышни из аппарата плясали на столе, и порожние бутылки покачивались и подпрыгивали. Потом, кажется, приносили вечернюю газету с боем медных тарелок в честь нашей бригады. И меня персонально. Болотин совсем помрачнел, и, чтоб возродить в нем торжественный звон души, Гусь Рыжий стал показывать, как обезьяны, взволнованные мощью слова, трясли прутья клетки. Иные, в их числе Петечка Пыльников, нелестно для Красса Захаровича захихикали.

– Идиоты! Чему радуетесь?! – вскричал Красс Захарович. – Мразь и убожество! Те-то хоть отважились трясти прутья клетки! А вы хоть бы раз смогли сделать это? Никогда! А ведь все мы сидим в клетках!

– Опомнись! Что ты несешь? – перепугался Шелушной. – Мы этого не слышим. Имя у тебя такое, а ты...

– Имя мне дали полуграмотные родители. А ты и полуграмотным никогда не был. Игуана, и конец свой найдешь на вертеле карибских индейцев! – Болотин стоял, голову вскинув, гремел пророком. – Да, мы все сидим в клетках, каждый, и не в одной, а в двух, трех или семи сразу, да еще и всеобщие прутья с невидимой сеткой выставлены для нас. Мы и так игрушки в чьих-то развлечениях, а нас еще и держат взаперти. А ключи от замков – главный у этого, – и палец Болотина указал в небо, – а еще один, поменьше, у того, кто обнаружил в депо великий почин. Мы же, их создания, убоги и трусливы, однако каковы же тогда создатели?

– Категорически и всегда! Этого-то, который на небесах, брани, сколько хочешь, а другого-то не трожь! – урезонивал Шелушной.

– А коли их мир несовершенен и несправедлив? Мне никто не страшен! – снова гремел Болотин. – Я буду глаголить истину! Потом, кажется, началась свалка. Кого-то успокаивали, кого-то разводили. Гуси-хрустальные братались с барышнями из аппарата, светская дама Берсеньева размахивала косынкой и то призывала патронирующего ее духа незамедлительно спуститься к нам, то брезгливо указывала на Болотина и заявляла: «Прошлого не отдадим». Болотин же повторял: «Они хоть трясли прутья!» Шелушной хныкал. Что-то и еще происходило...

Как я добрался до Останкина, да еще имея три копейки, дарованные мне Крассом Захаровичем, я не помню. Благодетели мои, незримые и невидимые, как и стражи порядка, были в ту пору благосклонны к неуверенным путникам, понимая, что и у придремавших в трамваях горожан были основания утомиться в субботный день.

По истечении же дня указанная благосклонность и снисходительность были сразу упразднены, свидетельством чему – история Красса Захаровича Болотина. Если верить устным московским хроникерам, Красс Захарович, проснувшись утром, что-то вспомнил, уточнил подробности у смущенного Шелушного, ужаснулся, не смог ни пить, ни есть, в чем был отправился на улицу Неждановой в храм Воскресения Словущего, что на Успенском вражке, и там, рухнув на колени, долго шептал что-то перед образом Воскресшего. Далее улицей Герцена он последовал на Красную площадь и здесь, опять же рухнув на колени, уперся лбом в историческую брусчатку напротив Мавзолея. Милиционеры наблюдали за ним минут пятнадцать, потом взялись поднимать его, и, не принимая во внимание слова Болотина о необходимости раскаяния неразумному за напраслину, возведенную в кураже и в гордыне, его при лучах солнца совершенно несправедливо отвезли в вытрезвитель.

6

А время катилось. Однажды я глянул в телефонную тетрадь и увидел: Герман Стрепухов. Набрал служебный номер. «А, это ты! – сказал Трепыхай. – Как раз кстати. У тебя нет самосвала?» «Самосвала? – растерялся я. – Нет». «Как же это у тебя нет самосвала, когда ты меня навел на мысль о навозе. Моя баба с тестем дуреют от опытов в огороде. Я уже договорился с зоопарком. Мы им – кое-что, а они нам – навоз. Сегодня как раз есть от слонов и от хищных. А самосвалов нет. Будем добывать. А ты не пропадай. Надо, надо повстречаться, посидеть. Созвонимся». «Созвонимся», – согласился я.

7

Мимолетное мое бригадирство привело к неожиданному последствию. В майский день я сидел за столом над раскрытой тетрадью, и мне позвонили. Звонившего я знал смутно, но все же знал.

– Читали, читали в «Вечерке» о ваших успехах, – сказал, между прочим, звонивший. – Кстати, что вы делаете во второй половине июня? Не могли бы вы выехать с делегацией – недели на две?

– А куда?

– Да в три страны.

Произнесено это было небрежно, человек владел миром и мог подарить мне на две недели любые три страны.

– А в какие?

– В хорошие три страны. В очень живописные три страны.

Тут будто бы и небрежность пропала, человек желал подарить мне, видно, на самом деле три великолепные страны и боялся, что я не смогу оценить его преподношение.

– Конечно, – заспешил я. – Спасибо. С превеликим удовольствием. Оформлением займусь сегодня же.

– Ну вот и замечательно. А про оформление я скажу потом...

Последовала пауза.

– Ну а как вы вообще-то? – прозвучал вопрос. В нем угадывалось предложение оставить всякую деловую ерунду вроде оформлений и делегаций и обратиться к материям высоким и вдохновенным. И, действительно, пошел разговор о выставке на Волхонке приехавших из Лондона полотен Тернера, о его пожарах Вестминстера, крушениях кораблей, о «Дожде, паре и скорости», о его световидении, живописных пророчествах, потом вспомнились нам приятные люди, оказавшиеся общими знакомыми, мы были довольны друг другом, добром, исходившим от нас, разговор мог быть вечным. Однако нельзя было отягощать телефонную сеть. Мой собеседник сказал: – Да, чуть было не забыл спросить... Мелочь... Пустяк... Но чтобы не возникло осложнений с оформлением... Вы член партии?

– Нет, – сказал я.

– Но... – И собеседник замолк навсегда.

– Вы извините, я забыл, – пришел я ему на помощь. – Я вспомнил. В июне я буду занят. Обязательства перед издателями...

– Это жаль... жаль... – пробормотал собеседник, отлетая от меня в ледяные выси межпланетий. – Может, в другой раз...

– Конечно, конечно, – успокоил я его. Но не выдержал: – А хоть в какие страны-то?

– Да в дрянные страны! Не стоит о них и сожалеть.

– Но все-таки?

– Перу, Бразилия, Аргентина... Безобразные страны. Грязь на улицах, фазенды нищие, немолотое кофе, стрельба на карнавалах... Бывал там неоднократно и всегда мучился... Вы уж мне поверьте...

– Я вам верю, верю...

Я тогда схватил атлас мира, водил пальцем от верховий Амазонки до Огненной Земли. Не я ли мальчишкой с детьми капитана Гранта и странствующим рыцарем Паганелем одолевал Кордильеры и влюбленными глазами смотрел на гордого индейца Талькава, не я ли бродил в пампасах, не я ли во влажных джунглях Мату-Гроссу охотился на неполнозубых броненосцев, не я ли в пироге из пальмового дерева проносился мимо стай пираний? Ах как хорошо там было! Теперь, спустя годы, я уже и не знаю точно, ездил ли я после звонка в

Перу, Бразилию, Аргентину на две недели или не ездил. Столь ли это важно? Я там был! Я закрываю глаза и вижу: пальмы на Жемчужном берегу, зелено-серые пространства Патагонии, расплескивающиеся юбки танцующих самбу, набережные Рио-де-Жанейро и себя в Рио-де-Жанейро, пусть и не в белых штанах. Колумб отправлялся в плавание с желанием достичь страны Сипанго (от нее до Индии – рукой подать!), страны, называемой нами Японией, в коей воображение хитроумного венецианца Марко разместило приманные дворцы из золота и женщин, чье умение любить было совершенным, но приплыл он совсем в иную страну и до конца своей жизни не узнал, что это была Америка. В какие страны приплываем мы, не ведая о том?

8

Потом нечто произошло в расположении звезд, посвященных в судьбу нашей семьи. Над нами просветлело. Как-то с женой мы направились в путешествие в Берлин. Мы были индивидуалами («один плюс один») и могли чуть ли не вольно шестнадцать дней раскатывать по стране. Я был увлечен тогда Бахом, Гёте, Лукасом Кранахом, немецкими романтиками, в частности живописцами дрезденской школы, и прежде всего Каспаром Давидом Фридрихом. В их следы я стремился ступить, их тени, звуки желал я увидеть и услышать. Бродил берегом тихоструйного Ильма, сидел на репетициях мотетов Баха в соборе Эрфурта, искал на берегу Эльбы место, где лежавшему в траве под бузиной студенту Ансельму явились три змейки, в серо-синих сумерках стоял высоко над озером Мюгельзее, ощущая, что туманы мироздания не придуманы К. Д. Фридрихом. И, естественно, с помощью сравнительного метода исследовал свойства бренденбургского, берлинского и апольдского пива. Новые мои знакомые с пониманием относились к моим интересам. Но все они спрашивали: «А зоо вы посетили?» Жалкие мои бормотания о том, что в одном зоопарке я уже бывал, ничего объяснить не могли. Каждый немец – в душе Брэм. Человек, не желающий первым делом поспешить в зоо, мог показаться странным. Или нравственно убогим. В воскресный день в Лейпциге мы с женой пошли в зоо. Весь Лейпциг прогуливался аллеями парка. Парка ли? Заповедной звериной страны. Долго рассказывать не буду. Да и не помню я многие лейпцигские подробности. Но и нынче в памяти тигриные фермы. Чуть ли не дачи с усадьбами для семей уссурийских кошек. Чистые, здоровые, будто бы довольные существованием, они плодились и размножались, растили сто пятьдесят тигрят для золотой торговли. На обширных пространствах с камнями, водами и деревьями проживали стада обезьян, средних и мелких. Часами глядели на обезьянью жизнь зрители, тут были представления на любой вкус, все обезьянье и все людское: и борьба за власть, и помыкание слабыми, и интриги, и любовь, и добронравие, и подлость... Публика прогуливалась в зоо степенно, и дети, казалось, вели себя степенно, хотя иные озорничали и капризничали. Но к обеденному времени началось некое брожение, все готовы были куда-то устремиться. «Что-то случилось?» – обеспокоились мы. «Львов и тигров будут кормить», – объяснил мальчишка с мороженым. Вот-вот должно было начаться великое ежедневное действие – кормление владетельных хищников, царей природы, ее курфюрстов и маркграфов. Толпа в волнении, но все же опять степенно, без московских напряжений, перебежек и толкотни, двинулась к старому и, по здешним понятиям, тесному строению. Внутренний двор его – зрительный зал – окружали клетки с оголодавшими к обеду хищниками. Действо вышло из трех актов. В первом было много драмы, движения и звуков. Звери, каждый обнаруживая характер, а кто-то и производя впечатление на публику, ожидали и требовали мяса. Они будто бы и собраны были в тесном павильоне ради этих ожиданий и требований. Нервно ходили из угла в угол клеток – кто в свирепом молчании, кто рыча и предъявляя клыки убийц. Мавр Отелло, якобы доверчивый, на самом деле очень расположенный выслушивать подлые наветы, вполне мог бы получить уроки страстей у лейпцигских трагиков. Но вот начался акт второй. Явились служители, привезли мясо на площадках автокаров. Животные при этом совершенно озверели. Служители с пластикой герольдов саксонского двора пиками подавали куски мяса в межпрутья решеток. Какие это были куски! С обилием мякоти и с мозговыми костями для неспешных удовольствий. Прозаизм человека, выросшего в очередях Мещанских улиц, заставлял меня прикидывать, сколько в обеденных парных кусках было килограммов. Я отругал себя. Стыд какой! Разве можно думать здесь так? Я уговорил себя увидеть в происходящем ритуал с жертвоприношением и с признанием людской вины перед существами менее хитрыми, нежели мы. А существа эти урчали, грызли, жевали, рвали сочно-красную плоть существ

еще более слабых. Впрочем, скоро наступил акт третий. Лев зевнул и, положив голову на лапы, придремал. И прочие звери успокоились, прилегли, вступили в благодушные послеобеденного сна. Один леопард не притронулся к мясу: как бродил до обеда по клетке в тоске и злобе, так и теперь бродил; возможно, был подан пикой ему недостойный кусок мяса, возможно, и не мысли о трапезе терзали его душу. Страдания леопарда уже не трогали публику, она потянулась в павильон с бегемотом – уроженцу Танзании должны были привезти зеленые угощения. А я пошел исследовать свойства лейпцигского пива в сочетании с горячими боквурстами.

9

В зоопарк на Большой Грузинской я не заглядывал лет десять. Но встретил как-то Красса Захаровича Болотина, и меня что-то толкнуло зайти туда. А зачем – и не знаю. Жил я теперь не в Останкине, а в Белом городе, Красса Захаровича встретил на Тверском бульваре. Был он в клетчатом пиджаке и в клетчатой кепке. Сообщил между прочим, что у него выходят две книжки – «Родные хляби» и «Жизнь в клетке», – и он идет нынче в издательство за версткой одной из них.

– «Жизнь в клетке»? – переспросил я.

– В какой клетке! – Красса Захарович будто испугался. – Ты не так расслышал! «Жизнь в клетку»!

– А-а-а, – оценил я его кепку и пиджак.

– А что-то ты несколько лет не являешься на субботники в зоопарк?

– Десятку посылаю в фонд, – сказал я. – Так вернее.

– Экий ты барин... – поморщился Болотин.

– Отчего же барин? Наш рабочий день оценивают в десятку. А я-то и ее не вытягиваю...

Вот тогда меня и потянуло в зоопарк. Лучше бы я туда не ходил. Грустно мне стало у пресненских прудов. Убогим и нищим увиделся мне московский зверинец. В детстве все в мире для меня было вольнее и просторнее, и жизнь здесь птиц и зверей представлялась чуть ли не отрадной. Стыдно мне не было. А было интересно. Взрослым в дни субботников я приходил сюда как бы по делу, через двор хозяйственный, и жителей зоопарка мог во внимание не принимать. Мог отвернуться от дикобраза или кота манула – до них ли мне? А нынче я был посетителем, да еще и побывавшим в сытом лейпцигском зоо, нынче на дикобраза и серого камышового кота манула я и должен был глазеть. И я загрустил. Пришли на ум давние сетования о несовершенствах природы и людских устройств, с ними я и бродил вдоль прудов, пока не столкнулся с мчавшимся куда-то Германом Стрепуховым. Герман Стрепухов, доктор наук, губастый Трепыхай, все в той же приплюснутой, надвинутой на брови зеленой колониальной панаме, был мне рад, но спешил. «Давненько мы с тобой не виделись, давненько, – отметил Герман. – Никак мы с тобой не посидим, школу не вспомним, а надо бы обязательно посидеть. Но не в ближайшие дни». В ближайшие дни у Германа было множество хлопот – симпозиум в Индианаполисе, хлопоты с чертежами электрических каминов («Конверсия, брат, конверсия, куда денешься!»), осмысливание кооперативных идей, в частности, греет его мысль учредить вместе с зоопарком кооператив «Меньшой брат» – будет куда пристраивать навоз и прочие отходы. «Это ведь ты надоумил меня с навозом!» – напомнил Стрепухов, то ли радуясь, то ли укоряя меня. Сразу же он сообразил, что куда-то мчался. Жена его совершенно помешалась на трехметровых пятнистых кабачках («Отрежешь половину, а он растет дальше»), но оказалось, что для них полезнее навоз не из-под хищников, а из-под парнокопытных. Договариваться о парнокопытных Трепыхай и бежал. «Ну бывай!» – крикнул он и унесся.

Энергия одноклассника несколько воодушевила меня и заставила подумать, что в мире не все дурно. Морской лев, гладкоблестящий, резвился в водах, где некогда обитала моржиха Барон, и выглядел благополучным. С отцом и матерью ходил по осенней, но еще живой траве, тыча клювом в воду, вылупившийся здесь же, на Грузинской, журавленок. Неподалеку под табличкой «Лебеди текущего года рождения» грелись в спокойствии бабьего лета крупные серо-бежевые птицы, шеи их вовсе не были хрупкими. Шумели за решеткой, волнуя ученую птицу секретарь, перепархивая с ветки на ветку, попугаи в зеленых, синих, желтых, красных нарядах тропических щеголей, пестрые лори, особи амазонские и александрийские. Птица секретарь с пером писца за ухом поводила головой, будто осуждая беззабот-

ность попугаев. А впрочем, осуждение это могло быть напускным. Все жили, жили, жили как могли и умели. Пусть и в клетках. Я было возрадовался. Но тут увидел за мелкой металлической сеткой существо знакомое, нахохленное и обиженное: «Воробей обыкновенный». Другие воробьи обыкновенные, но упитанные и добродушно-наглые, а вместе с ними и голуби шлялись по асфальтам дорожек, залетали ради развлечений и продовольствия куда хотели, но ненадолго: иметь постоянную прописку обитателей зоопарка они вряд ли желали. А вот их сородич, представляющий за сеткой отряд воробьиных семейства ткачиковых, меня опять опечалил. Я стоял, стоял, смотрел на него. Обыкновенный и в клетке. Не потому ли и обыкновенный? Потом пошел дальше. Лишь у загона патагонских лам грустное движение мое было приостановлено.

– Эй, ты еще здесь? – закричал мне из загона Герман Стрепухов. – Ты самосвал не можешь достать?

Нас разделяли прутья ограды и мелкая решетка сетки. Я ли стоял за прутьями, он ли – за ними, имело ли это значение? Ограда была сама по себе.

– Откуда у меня самосвал? Ты однажды спрашивал.

– Ну ладно, – сказал Герман. – Навоз хорош. То, что надо. И мелкозернистый. Лучше усвоится. Побегу добывать транспорт.

– Удач тебе.

Герман поспешил в глубь загона мимо дремавших в крапиве лам, но обернулся и крикнул мне:

– А ты не пропадай! Надо посидеть! Созвонимся!

– Созвонимся, – согласился я. – Отчего же и не созвониться?

1989

Бубновый валет

1

Милостивые судари и сударыни, спешу выразить Вам признательность за то, что Вы, согласившись с потерей или даже с проигрышем времени, решились познакомиться с историей, о которой я принялся теперь рассказывать. Очень может быть, что интерес к ней у Вас тотчас и увянет, хотя бы и из-за несовершенств рассказчика, но вдруг – пусть и одного любопытствующего – она увлечет вглубь себя? И того будет довольно¹.

Для меня эта история началась летним днем 196...-го года. В холле шестого этажа, у выхода на парадную лестницу редакционного здания, меня остановил Глеб Ахметьев.

– И тебя, говорят, К. В. одарил фарфоровым изделием?

– Одарил, – нахмурился я.

– Четырех уже убили. И ты туда же?

– Каких это еще четырех?

Ахметьев назвал убиенных. Фамилии двух из них я услышал впервые, по какой причине и как их убили, было мне неизвестно. Двух других я знал, но одна из них сама отравилась уксусом, второй же мой знакомец весной повесился.

– Не ты ли, Глеб, и убивал?

– Не способен, Вася, не способен! – вздохнул Ахметьев. – А жаль. Жаль! Способен лишь поднести ко рту ореховую трубку.

Он и поднес ко рту трубку. Если верить молве, федоровскую.

– А при чем тут фарфоровое изделие?

– Существует предположение, – сказал Ахметьев. – Событийная связь... Но не ожидал я, что именно ты, Василий, отправишься к К. В. унижаться, сознавая, что поход твой толку не даст.

Слова Ахметьева вызвали у меня недоумение и обиду. Ему ли, благополучному гордецу, воспалявшему в иных зависть, попрекать меня, да еще и в месте почти публичном, пусть сейчас пустынном, но где в любую секунду могли возникнуть спешащие по делам слушатели?

– Я раб низкий, – сказал я тихо, – а обстоятельства заставляют меня усмирять гордыню.

Ахметьев промолчал, вкушал капитанский табак. Стоял метрах в десяти от меня, надменный, бледнолицый, вновь вызывавший у меня мысли отчего-то об удрученном Чаадаеве. Или о печальном байроновском Манфреде. (Агутин говорил: «Встал Глеб в позицию Шатобриана». Но знал ли Агутин что-либо о Шатобриане?) У редакционных уборщиц Ахметьев имел прозвище Барин. Однако не здешним уборщицам он был обязан этим прозвищем.

– Не позволишь ли ты мне взглянуть на подарок К. В.? – спросил Ахметьев.

– Я его выбросил! – буркнул я.

– Напрасно ты не хочешь мне его показать, – сказал Ахметьев. – Я бы его рассмотрел. Дал бы тебе совет. И, возможно, уберег бы от неприятностей.

– Сам себя уберегу...

– Глеб Аскольдович! Глеб Аскольдович! – выкрикнула из коридора секретарша Ахметьева Лиза. – Вас к телефону! Срочно!

¹ Как публикатор записок Василия Куделина обязан сообщить, что все события и персонажи их автором выдуманы. Однако не исключено, что подобная история могла произойти в многовариантности нашего бытия. – Владимир Орлов.

– Меня нет, – сказал Ахметьев. – Я на улице Хмельницкого.

– Это из канцелярии Климента Ефремовича! – Лиза появилась в холле.

– Для этой свиньи меня тем более нет, – брезгливо произнес Ахметьев, горло и кадык его дернулись, будто мысли о свинье и его канцелярии могли сейчас же вызвать рвоту Глеба Аскольдовича.

– Но как же! Как же! – взмахнула руками Лиза. – Там ведь малые сроки!

– Ну ладно! – бросил с досадой Ахметьев и двинулся вслед за Лизой к омерзительным для него общениям с бывшим первым маршалом. Мне же отослал на ходу: – Не забывай: четырех уже убили!

А я поднялся на седьмой этаж, к себе, в Бюро Проверки.

2

Ночью, после службы, мне предстояло дожидаться явления снизу, из типографии, сигнального экземпляра газеты. Тогда всех дежурных по номеру должны были автомобилями развозить по домам.

Я сидел в безделье, листал купленную утром монографию Некрасовой о Тёрнере, но без внимания к почитаемому мною художнику, а думал об Ахметьеве и его словах.

В редакции шутник шутника погонял, розыгрыши были способом сохранения житейской энергии и добродетели, но Глеб Аскольдович Ахметьев в публичных остряхах у нас не числился. В свои двадцать восемь он выглядел на сорок лет, казался человеком, пережившим многое, хмурым и замкнутым на себя. Шутил он, по крайней мере в моем присутствии, редко, а остроты его походили на туманно-кружевные эпиграммы («английский, аристократический юмор». Лана Чупихина) и лишь иногда – на злые эпитафии. Но не мог же он всерьез говорить мне о четырех убиенных с намерением уберечь меня от неприятностей. Наверняка он ехидничал и поддразнивал меня, что, впрочем, было ему не свойственно. И непонятно все же было, зачем ему понадобилось досаждать или даже злить меня напоминаям об унижительном походе к К. В.? Глупость какая-то...

Должен заметить, что нынешние записи свои, о причинах и целях коих я обязан сообщить позже, я произвожу лет через тридцать после случившегося. За эти годы я побывал во многих исторических и личностных передрыгах, многое увидел и ощутил своей шкурой, а потому миропонимание мое и принципы изменились. Тогда же я пребывал в жизни прекраснотушным и романтизированным юнцом, чьи уши требовали ежедневного повторения «Марша энтузиастов» и не удивлявшимся уверениям Никиты Сергеевича в том, что в году восьмидесятом непременно наступит изобилие провизии, обуви и доброты, а зло само по себе иссякнет. Это теперь основным разделом сведений о ежедневной маяте общества является криминальная хроника. В ту же пору слова о четырех убиенных, да еще и находящихся в событийной связи с фарфоровыми изделиями, казались смехотворными. Чушью казались. Не произвел ли себя Ахметьев в графа Томского, а меня – в инженера Германна, и не будет ли он теперь вышептывать или выкрикивать из-за углов: «Четырех уже убили! И ты туда же?»

Я хотел было вынуть из сумки приобретение от К. В., рассмотреть его повнимательнее, но отказал этому намерению.

Номер был нынче простой, спокойный, без экстренного прибытия тассовских восковок с официальными документами, потребовавшими бы переверсток первой, а то и остальных полос. А потому сигнал пришел в два ночи, и я спустился в приемную Главной редакции. Был готов задать вопросы Глебу Ахметьеву, коли бы он там оказался. Но нет, по отделу Глеба дежурил Мальцев. Меня определили в машину для развоза именно с Мальцевым, Башкатовым и Чупихиной, а стало быть, высаживать первым следовало меня.

Мы докатили до угла Трифоновской и Третьей Мещанской. Шофер Володя спросил:

– Ну что? Подбрасывать тебя в переулок, к дому? Или...

Заезжать в переулок желания у него явно не было, да и пассажиры «Волги» зевали.

– Я здесь выйду, – сказал я.

– Ну смотри... – словно бы в сомнениях произнес Володя. – А то ведь дождь и темень...

– Он не из тех, кто может размокнуть или убояться, – пропела Лана Чупихина, одна из наших редакционных красавиц. – Ведь так, Василек?

– Уже и Василек? – удивился Мальцев.

– А кто же он? Василек! – подтвердила Чупихина. – Василек и есть!

– Василек, Василек! – успокоил я Мальцева и захлопнул дверцу «Волги».

Дождь сыпал мерзкий. Застегнув молнию куртки, вздернув воротник, я стал подниматься Третьей Мещанской к своему переулку мимо холма с церковью Трифона в Напрудном, в чьей истории имелся сюжет с участием Грозного Ивана и его соколов. Холм был некогда высоким берегом речки Синички, упрятанной под асфальты. В часы гроз и ливней Синичка именно здесь выбурливала люками из недр, создавала пруд, останавливавший движение трамваев и позволявший ребятам плавать посреди Трифоновки. (И я плавал.) А однажды здешний холм стал берегом то ли Волги, то ли Каспийского моря. Снимали «Вольницу» по Гладкову, нагнали массового мосфильмовского простонародья начала века с разноцветьем костюмов, «языки многие и одежды»; с удивлением и беспокойством прохаживался в толпе, не оживленной еще мотором, ученый верблюд, приведенный олицетворять заволжские степи и пустыни матушки-России и ее киргизкайсацкой орды.

– Эй, мужик! Подойди к нам! – грубо и властно оборвали мои видения.

Трое мужчин или парней стояли на моем пути, в темени, очередной фонарь служил обществу метрах в пятидесяти за ними. Слева от меня через улицу был проходной двор, каждой штaketиной мне известный. Следовало сейчас же рвануть туда, но я посчитал, что так будет нехорошо.

– Будь добр! – произнес второй из поджидавших меня.

– Ну и что? – подошел я к ним.

– Давай-ка сумку, а сам можешь уматывать! – это приказал первый, дерганый, самый высокий и тонкий из троих, он намеренно гнусавил и растягивал слова, такие суетятся и нервно кричат, а делают маленькие. (У третьего, маленького, судя по движению его руки, наверняка был нож, а то и пушка.)

– Сумка мне тоже нужна... – сказал я.

Кепки были надвинуты на глаза, лица чернели.

– Нашли кого грабить, – проворчал я и бросился через улицу к проходному двору.

Однако меня быстро остановили подсечкой и, свалив, принялись бить ногами и кулаками, производя удары со знанием дела. А кто-то и шарил в карманах.

Очнулся я быстро. Приподнявшись на локтях и сидя на мокрой мостовой, я наблюдал за тем, как трое рылись в моей спортивной сумке из крашеного брезента.

– Эй! – крикнул я, пытаюсь встать. – Блокноты выбросьте. В них для вас пользы нет. И книжку с картинками, она вам будет скучна.

– Да возьми ты все! – швырнул мне сумку коренастый, минутами назад предлагавший мне быть добрым.

Приказав себе забыть о боли, что в состоянии возбуждения исполнить было возможно, я прихватил сумку и бросился в проходной двор первого и третьего домов по Солодовникову переулку. И вовремя. «Идиот! Догони! Отбери! Останови его! В его блокнотах, может быть, важное! – закричал высокий и нервный. – Да и сам он теперь лишний! Не понимаешь, что ли!» Меня искали. Но сколько раз, еще в первых классах, я играл здесь в партизан маршала Тито, лучшего друга Сталина, и скрывался от гитлеровцев с их хорватскими прихвостнями! Минут через сорок я неслышным лисом проскользнул через переулок в свой двор.

В квартире все соседи спали. Родители до середины октября пребывали в своих садах и огородах. Я включил свет на кухне. Смыл кровь с лица, ваткой, смоченной одеколоном, протер ссадины, подержал пятак под левым глазом, жаль, что в аптечке не было бодяги. Обычно, возвращаясь с работы ночью, я пил на кухне чай. Нынче делать этого не стал, опасаясь, как бы не вышел по нужде из своей комнаты сосед Чашкин и не начал бы ехидничать, разглядывая мою физиономию. Отношения с Чашкиным были у меня отвратительные.

К моей радости, монография Некрасовой о Тёрнере повреждений не получила. Три с половиной рубля уцелели. И дело было не в рублях. Книжку о Тёрнере я давно ждал, и, наконец, она вышла, а я ее достал. Блокноты мои были испачканы и вроде бы помяты. Футболь-

ную форму выпотрошили из пластикового пакета. Я ее вообще зря брал на работу. Недоставало в сумке лишь одной вещи – сегодняшнего фарфорового приобретения.

«Что же мне вручил-то К. В.? – соображал я. – Как будто бы солонку... Птицу странную, соль из нее должна сыпаться из глаз и клюва...»

Лица трех разбойников я не разглядел. Но голоса их, двоих из них, я услышал. А на голоса и звуки память у меня была хорошая. И я не мог забыть, как были произнесены слова: «Да и сам он теперь лишний!»

3

Полагаю, пришла пора сообщить о том, кто такой К. В. и что это за фарфоровые изделия, давшие повод для ехидств и малообъяснимых опасений Глеба Ахметьева.

К. В. – это Кирилл Валентинович Каширин, первый заместитель главного редактора газеты с тиражом в десять с лишним миллионов экземпляров, большой человек, располагающий правами казнить всякую мелочь и эту же мелочь миловать.

А фарфоровые изделия были частью фонда так называемого Музея газеты. Музей этот, надо сказать, – особенный, представлял собой собрание главным образом подарков друзей и героев газеты, космонавтов в частности, и всяких диковин и реликвий, добытых нашими журналистами в командировках. Первые экспонаты случились или образовались еще в довоенные времена и связаны были со спасением челюскинцев, папанинским дрейфом, даже серо-бурый свитер Чкалова хранился в залежах музейного запасника, то бишь в одной из обычных редакционных кладовок. Потом пошли приобретения фронтовые, из-под Вязьмы, из-под Сталинграда, из Кенигсберга (мы с Сергеем Топилиным, отправленные года три назад в архивы Музея обороны Царицына и Волгограда за неопубликованными документами, и то приволокли в Музей (наш) осколки и дырявленную каску с Мамаева кургана, еще не облагороженного Вучетичем). Теперь в коридоре на подходе к Главной редакции, то есть к кабинетам Главного и трех его замов, в четырех отсеках под стеклами можно было увидеть макеты атомных подлодок и ледоколов, автографы Гагарина, Кастро, Шолохова, отбойные молотки рекорсменов-стахановцев, набедренные повязки диких амазонских индейцев (доставки сеньора Олега Игнатьева), сушеных морских звезд от берегов Антарктиды, пачку балерины Бессмертной и прочее, и прочее. Попадали (понятно, что в музейные запасники) и предметы курьезные, достойные редакционной кунсткамеры. Как правило, поставляли их сидельцы из отдела науки. И прежде всего – шустрый Владик Башкатов. Именно к ним приходили изобретатели, снимальщики порчи, связные пришельцев, телепаты, оглашенные, колдуны, в ту пору повсеместно гонимые. А вот в нашем отделе науки к ним относились с доброжелательным вниманием, на мой взгляд, не всегда оправданным, за что, случалось, получали распекаки от курирующих нас чинов. Но иногда изобретатели своими открытиями и капризами все же допекали и наших ученых мальцов, вынуждая их к действиям, вовсе не доброжелательным. Однажды их посетил отставной полковник. Существовал тогда в природе такой социальный тип (с утра голодный – сужу по нашему буфету, – а к вечеру сытый драматург Софронов сейчас же состряпал про него народно-ростовскую драму). Приметы его были такие: мужик лет пятидесяти, крепыш, большеголовый, лысый, или бритый наголо, или седой, но коротко стриженный, в жару – с носовым платком (узелки на углах) на башке, в китайских синих брюках и ковбойке навывпуск, громкогласный правдолюбец, лезущий во все дыры и что-то изобретавший. Тот «полковник», о ком я вспомнил, первым делом потребовал, чтобы все сотрудники отдела науки подтвердили ему, что беспартийных среди них нет, что, на худой конец, все они комсомольцы. Только тогда он имел право сообщить им о своем открытии мирового стратегического значения. А изобрел он способ свободного и безо пасного опускания любого тела, в том числе и человеческого, с любых высот на любой клочок земли без парашютов и прочих планирующих устройств. Владик Башкатов переписывал полуграмотную статью, был в раздражении, бросил: «Покажите изобретение в действии! Спуститесь на пол хотя бы с моего стола!» – «Вы мне не верите... – расстроено выдохнул изобретатель. – А другие мне верили...» – И он достал из портфеля ворох грамот и дипломов, подтверждающих его государственную и надтелесную ценность. «Мы вам верим, верим! – теперь уже раздосадованно заторопился Башкатов. – Но ведь не хотелось бы и усомниться...» Он подошел к окну, открыл его, сказал: «Вот что. Вы отдаете свой порт-

фель. Для чистоты опыта. Вдруг в нем парашют. Наш этаж шестой. На подъем даем пять минут. Ждем вас в коридоре. И как только вы вернетесь, пишем репортаж о вашем изобретении прямо в номер». Ребята быстро выскочили из кабинета, Башкатов запер дверь на ключ. Через минуту изобретатель забарабанил в дверь. «Прихватило! Прихватило! – восклицал он. – Где у вас туалет?» И унесся в сторону туалета, более его не видели. Еще один, показавшийся чайником, явился демонстрировать аппарат, созданный им для назидания начальникам, БКС-6, бюрократакосилку. Косить аппарат обязан был не самих бюрократов, а их бумаги – входящие, исходящие, согласующие, прочие. «Валяйте, валяйте, показывайте!» – благодушно поощрил Башкатов посетителя. Изобретатель достал из чемодана с нищенскими фибровыми боками сооружение, сбитое из четырех фанерин, на колесиках, умеющих, как выяснилось позже, не только ездить, но шагать и обшагивать предметы. Внутри фанерок крепились на веревочках и резинках лезвия, половинки безопасных бритв и какие-то зубья. Был там еще и жестяной бачок. «Сейчас, сейчас, подождем спиртовку и нагреем мотор», – неспешно объяснил изобретатель. Зрители приготовились к длительному созерцанию действий аппарата. Тот взревел, заверещал, зазвякал металлом, завертелся на месте, задымил, но тут же бросился в поход по столам. В тесноте кабинета столы были придвинуты друг к другу, и аппарату не было необходимости прыгать по крышам вагонов, он просто перебирался со стола на стол («Не трогайте его! – кричал изобретатель. – Пальцы отхватит!»), и через пять минут дело было сделано. Рукописи, правленные и неправленные, письма читателей и ответы на них, казенные бумаги со штампами и печатями – все было превращено в крошки, в отруби, в опилки. «А-а-а! Каково!» – торжествуя, восклицал изобретатель. «Да... – протянул помрачневший Башкатов. – Это у вас и не косилка, а потрошитель...» Изобретатель от своих щедрот был готов снабдить все отделы персональными Бэкаэсами, но Башкатов согласился принять от него лишь один экземпляр. Позже он заходил к членам редколлегии с намерением привести Бэкаэс в их кабинетах в трудовое состояние. Но его гнали, ссылаясь на жару и обременительную занятость. Сошлись на мнении, что косилку следует сберегать в Музее. В Кунсткамере. Туда ее и сгрузили.

Коллекция же фарфоровых изделий попала в Музей следующим образом. Света Рюмина из отдела информации обнаружила собирателя Кочуй-Броделевича Николая Митрофановича и написала о нем заметку. Вся квартира этого Кочуй-Броделевича, одинокого инженера-мостовика, была заставлена солонками. Сотнями солонок. Рюмина увидела солонки самых разных форм и размеров, созданы они были во многих странах и истории имели примечательные. Слабость к солонкам проявил еще отец нашего Кочуй-Броделевича, унаследовав ее от отца, строившего Великую Сибирскую магистраль под началом Гарина-Михайловского. Педанты-коллекционеры не признавали собрание Кочуй-Броделевича чистым и, стало быть, ценным и не допускали его вещицы на выставки и в каталоги. Действительно, кроме солонок у Кочуй-Броделевича хранились еще просто фарфоровые изделия, вовсе не солонки, а сами солонки его не все были из фарфора, имелись среди них экземпляры пусть и забавные, но из глины, из металла, из обыкновенного стекла, из соломки, наконец. То есть собрание его было и не собранием солонок, и не собранием фарфора, а так, чем-то промежуточным. Публикация Рюминой, да еще и с фотографиями, взбодрила и обрадовала старика (по моим тогдашним представлениям – старика, стариком он не был). А позднее его и его солонки показали по телевизору. Но потом он неожиданно умер. И выяснилось, что собрание свое он завещал нашей редакции как истинной хранительнице отечественной культуры и наказал включить его частью в фонды Музея. Месяца через три исполнители подняли на шестой этаж несколько серьезных фанерных и картонных коробок с дарами Кочуй-Броделевича. «Да куда же их девать-то! Да чтоб этот Броделевич со своими солонками!» – бранились хозяйственники. Кабы мог услышать их тихий чудаК Кочуй-Броделевич! Но увы... Или, напротив, к счастью... «Да не орите! – отвечали хозяйственникам. –

Толку от вас, как всегда, никакого! Вот скоро съедет „Огонек“ в журнальный корпус у Савеловского. Их Белый зал и кабинеты отойдут к нам. Там, наконец, и разместят Музей». Ну а пока? А пока? Хозяйственники взвыли и пошли жаловаться к К. В. – материальные ценности были в его ведома. «А пока поставьте коробки ко мне в комнату отдыха!» – распорядился К. В. В тот вечер К. В. был весел, сыт, здоров и благорасположен к неожиданному и невыгодному для себя жесту.

Попасть в комнату отдыха К. В. я, естественно, не мог. При всех кабинетах главных – самого Главного и трех его замов – со времен войны имелись комнаты отдыха с ванной, туалетом, диваном, столом для трапез, гардеробом; кабинеты в войну становились квартирами. К. В., рассказывали, завел себе шведскую стенку для поддержания физических совершенств. Может, рядом покачивалась и боксерская груша. В соседи к ним в апартаменты К. В. и занесли коробки Кочуй-Броделевича. Дуся Кулагина, определенная в общественные хранители Музея, захотела было провести инвентаризацию новых единиц хранения. Но ей драматически указали: «Не суйся ты как дура! Не лезь сейчас в коробки! А то он передумает и вышвырнет их в коридор!»

Понятно, что вскоре о даре Кочуй-Броделевича забыли, для нас он был ничем не примечательнее, нежели сушеная морская звезда из водяной Котловины Беллинсгаузена. А если и вспоминали о нем, то лишь в рассуждении – долго ли К. В. сможет вытерпеть коробки. Владик Башкатов, изучавший натуру К. В., утверждал, что недолго. Недели две от силы. И то – при благонамеренном развитии стихий. А уж если просыпется вдруг град из начальственных туч, или, не дай Бог, неведомая нам новая очаровательница откажет К. В. в проведении именин сердца, то он и вышвыривать коробки не станет, а в досаде перебьет в них все фарфоры. Да, утверждал лукавый и прозорливый Башкатов, К. В. приобрел свойства степенного государственника и далеко пойдет, но мальчишка, гонявший на мотоциклах и сигавший с неба на парашютах, из него никуда не делся, не утихомирился и свободы К. В. окончательно не дал. А я вспомнил, как проводили мы юбилей редакции в Доме журналиста. Прежде чем перейти к столам в ресторане, ради чего и собрались, сидели в Мраморном зале в занудстве обязательных слов. Наконец добрались до модной тогда лотереи. С розыгрышами не только шуточных предметов, но и вещей относительно ценных, на них продавали билеты. К. В. сидел на сцене главным, все призы лежали перед ним, лотерейщик вел дело медленно и скучно. К. В. вдруг вскочил: «К застолью, братцы, к застолью! В ресторан! Хватит! Это нам-то зависеть от слепого жребия! Никогда! Мы все на равных! А потому – на шарап! Всё – на шарап!» И принялся разбрасывать призы в народ. Он и запомнился мне воодушевленным, провозглашающим: «На шарап!»

Владик Башкатов считал дни, но прошло две недели, и ему пришлось признаться в своем конфузе. «Не ожидал я этого! – сокрушался он. – Не ожидал!» И тут совершенно неожиданным образом произошло явление публике предмета из коллекции Кочуй-Броделевича.

Лена Скворцова из отдела учащейся молодежи ходила на прием к К. В. и вернулась от него в задумчивости и удивлении. Пошла же она к нему с просьбой дать ей командировку в Курган. Материал для статьи она могла собрать и в Рязани, и в Ярославле, даже и в Москве, но Курган ее манил по причине частных интересов. К. В. это понял. Лена Скворцова была девушка симпатичная, а К. В. одно удовольствие было подтрунивать над симпатичными и смазливими. В конце собеседования он заявил, что конечно, конечно, не сейчас, но когда-нибудь Лена обязательно поедет в Курган, он обещает, и, чтобы нынче карие очи Лены не затуманивались слезами, он вручает ей фарфоровый сувенир, и опустил в руки Скворцовой ласковую пастушку с ягненком. Оказалось, что солить можно и из пастушки, и из ягненка. А ягненок был способен и на рассыпку молотого перца. Владик Башкатов, узнавший о событии с опозданием, бросился к Лене Скворцовой со словами, объяснявшими его интерес, и обна-

ружил в подножье пастушки выведенный черной тушью № 23. Надо полагать, что Кочуй-Броделевич или кто-то, приглашенный им, все же проводили инвентаризацию собрания и постарались составить ряды. «Ну Кирилл Валентинович! – восхищался Башкатов. – Ну дает! Выдержка-то какая!» Но и потом, месяцев пять, К. В. содержимое коробок Кочуй-Броделевича не курочил, а лишь потихоньку и по настроению раздаривал. Иные, приходившие к нему с просьбами о жилье, внесезонном отпуске, непредусмотренном маршруте командировки и пр. (не все, не все!), случалось, выслушивали отказы и ехидства К. В. Но кончались отказы утешениями Кирилла Валентиновича, снятием нервических напряжений, кому и с предложением коньяка, обещанием «не сейчас, но позже» и фарфоровым даром.

В нашей газете работали тогда молокососы, каждому – немногим за двадцать, лишь треть редакции составляли ветераны (за сорок) с довоенным или военным прошлым. Те, что поярче, уходили во взрослые («богатые») газеты, остававшиеся с нами не поднимались выше начальников средних значений. Всем главным и членам редколлегии либо не так давно исполнилось тридцать лет (К. В., например, сравнялось тридцать четыре), либо вот-вот должно было исполниться. Ко всему прочему большинство нынешних работников учились на факультете журналистики, пусть и на разных курсах, но знали друг друга студентами, да и в какие годы – шальные, весело-мечтательные, с брожением умов и идеалов, свержением с трибун, с должностей сановных подлецов и дуrolомов. А потому и в государственной уже конторе чиновоблюдения считались дурным тоном. Ни на каких дверях не висели таблички, делящие на разряды и звания, вроде «Прием по личным вопросам от 15 до 17 часов». Надо было лишь подойти к Тоне Поплавской, референту Главной редакции, высказать ей свои пожелания и подождать звонка со словами: «О. Б. (или К. В.) могут сейчас с тобой поговорить. Двадцать минут. Давай...»

4

И мне приспичило явиться на прием к Кириллу Валентиновичу. Предприятие мое было безнадежным. Но мне ничего не оставалось делать, кроме как грязными ботинками, их подметками в глине с дерьмом растоптать, растереть все свои комплексы и за шиворот ввести себя в кабинет К. В. Я уговаривал, успокаивал себя: «Что особенного-то? Что необыкновенного? Надо лишь соблюсти правила протокола, обязательность заведенного порядка. Всем это предстояло. Или предстоит... Ишь выискался какой душевно тонкий!»

Я уже сообщал мимоходом, что все хозяйственные и материальные дела редакции находились в ведома первого зама, К. В. Конечно, все мог перерешить Главный, но подобное случалось редко. Или не случалось вовсе.

Я приоткрыл дверь в кабинет К. В. Он был один.

– А, это ты, Куделин, – сказал К. В. – Заходи. Давай бумагу. Садись.

Я присел. Сам К. В. полулежал в кресле сбоку от обязательных форм стола для ежедневных заседателей, покрытого синим сукном, колени выставив вверх. Он отделился от четырех своих телефонов и вроде был не на посту, а отдыхал. Текст моей слезливой челобитной был безукоризненно банальный и не предполагал долгого чтения, но К. В. все держал бумагу перед глазами. Может, исследовал почерк автора в намерении открыть глубины моей натуры. Я же разглядывал его кабинет. Здание наше было построено в начале тридцатых модным тогда архитектором-конструктивистом Голосовым, его поминали в своих монографиях искусствоведы. Но интерьеры редакции были убого-провинциальные, самого что ни на есть мелко-чиновничьего стиля, с дальними и угодливыми отражениями вкусов сановников кремлевских и министерских значений. То и дело возникали разговоры о грядущих ремонтах, должных превратить шестой этаж в истинно журналистский офис второй половины столетия. Но пока обиталище К. В. походило на скучнейшее трудовое пространство какого-нибудь начальника ситцевого главка, и было в нем нечто промежуточно-временное. Или временно пребывал здесь сам К. В., достойный куда более замечательных мест умножения государственной энергии?

– Сколько ты у нас работаешь? – спросил К. В.

– Четыре года, Кирилл Валентинович. – Я готов был вскочить и расположить руки по швам. – Почти четыре...

– Немного, немного... – К. В. принялся раскачиваться в кресле. – Стаж у тебя, Куделин, мелкий... Мелкий... К тому же ты у нас не творческий работник...

– Не творческий, – кивнул я.

– Ты скорее технический работник...

– Да, я скорее технический работник, – поспешил согласиться я. Сидеть вблизи К. В. мне было неловко. Я ощущал себя Акакием Акакиевичем, вынужденным объясняться с генералом. Поверьте, хотя нынче это сделать трудно, тогдашнее мое уравнение себя с маленьким человеком, Акакием Акакиевичем, было совершенно осознанным и несколько не искажающим истинное состояние моих чувств. И разницы в наших хлопотах и упованиях не было никакой. Ну разве что Башмачкин пребывал в стараниях о шинели, а я – о квартире. Но квартира, пусть самая крохотная, никудышная и убогих свойств, была для таких, как я, то есть для тьмы тем, именно шинелью Акакия Акакиевича. Сколько людей в ту пору в усердиях добыть квартиру и существовать сносно погубили душу и сломали судьбы, и собственную, и домашних. Не забуду Рашида, беспального пространщика из Ржевских бань, долго вымаливавшего в присутствиях жилье, а потом, в отчаянии, спалившего дом, деревянный, одноэтажный, наискось от моего. У Рашида был расчет: его посадят, но жене его с четырьмя детишками как погорельцам дадут квартиру. Рашида посадили, в лагерях он сгиб, а его пого-

рельцев подселили в коммуналку в семейной Солодовке, там жить было куда хуже, чем в спаленном доме.

– А зачем ты мне принес? – поинтересовался К. В. – У нас есть жилищная комиссия.

– Но они без вас, Кирилл Валентинович, решать ничего не станут...

– Это ты, Куделин, преувеличиваешь. Есть правила закона, и мы их соблюдаем. Резолюцию я тебе поставлю, но самую обычную: «Рассмотреть на жилищной комиссии». И все. Ты заявление в комиссию отдавал? Нет? Ну что же ты? Отдай. И быстро. И все справки. Но должен тебе сказать, что раньше чем через четыре года твоя очередь не подойдет. Ты это понимаешь?

– Я понимаю! – выдохнул я с воодушевлением, будто срок в четыре года был для меня незаслуженной наградой. – Я-то ладно, я-то ко всему привыкший. Старикам вот тяжело. Я-то, был бы я один, разве б решился обременять просьбой.

Мне было стыдно. Я стал себе противен. Я оправдывался, будто я в чем-то мог считать себя виноватым. Ну да, я был виноват, коли посмел просить... Я встал.

– Спасибо за совет, Кирилл Валентинович. Я пошел. Очередь есть очередь. Но она все же движется.

– погоди! Садись! – резко сказал К. В. – У меня еще есть время. Номер сегодня ведет Камиль.

Я сел. Он смотрел на меня, сощурился, и не было в них доброты и благожелательности, чуть ли не брезгливость видел я в них.

– Ты, Куделин, всегда такой кроткий и смиренный? Благостный прямо?.. Тихий иннок... из этой... из Оптиной пустыни?.. Нет, пожалуй, я помню тебя и не кротким. Отнюдь!

Приехали... Пришла пора, настало лето... Кириллу Валентиновичу будет сейчас что мне припомнить...

Молодые люди нынешних дней понять нравы и привычки нашего поколения вряд ли смогут. Слова «регламент», «ранжир», «субординация», «твой номер – девятьсот восемнадцатый» и пр. им неизвестны, им и в разуме не могло бы войти то, что их отцам и дедам танцы «танго» и «фокстрот» (что говорить о роке!) исполнять было запрещено, да и никогда над ними, нынешними, не висел в небесах аэростат с портретом генералиссимуса. А я и в первых классах, и в пионерах (в детском саду и в октябрятках я не был), да и во всем укладе воспринявшей к пребыванию в ней жизни, я быстро прошел выучку государственного устройства и совершенствования и шкурой (иные говорили – «всеми фибрами души») ощущал свое истинное месторасположение в вертикалях и горизонталях общественного бытия. А если заблуждался или плавал в черничных сиропках грез, меня тут же тыкали мордой об стол и объявляли: «Нет, твой номер и не девятьсот восемнадцатый, а куда более мелкий...» И сегодня вот: «Ты не творческий работник, ты скорее технический...» «Ну, технический, ну и что? Технический, технический, успокойтесь...» Я уже писал выше, что объяснялся с генералом. Кирилл Валентинович Каширин по значению должности и номенклатурному измерению вершинных устройств на самом деле был гражданским генералом. Примеривали же его и в маршалы. А я по выходе из университета получил в военном билете запись: «младший лейтенант запаса». В должностном же состоянии я ощущал себя сержантом или ефрейтором. Пора моих бонапартьих воспарений отлетела лет пять назад, и в грядущем генералом я себя не видел. Да и не было у меня нужды ни в каком генеральстве... И вот недавно, месяц или полтора назад, я наорал на генерала, на Кирилла Валентиновича, наорал яро, и в том крике-выговоре самым нежным, ласковым почти, было слово «мудак», другие слова я приводить здесь не буду. Возможно, и разговор сегодняшней К. В. продолжил, чтобы напомнить мне о забавном – для него – случае. Играли мы тогда на Пресне, на поле «Метростроя» с ФИСом, командой издательства «Физкультура и спорт». Я бегал правым хавбеком, держал персонально знаменитого сборника Арменака Алачачана, но порой позволял себе гулять от

него вперед и влево, в центр. Там, уходя то и дело в правые инсайды, носился Виктор Понедельник, мы с ним сближались редко. И Понедельник, и Алачачан считались как бы авторами издательства, и мы, поворчав, согласились не называть их «липачами». Алачачан, в баскетболистах – Малыш (метр семьдесят восемь), был ниже меня, но, когда я врезался в него, я понял, что налетел на чугунный столб. Играть с ним надо было на опережение. А К. В. держался сзади меня на позиции чуть выдвинутого вперед правого защитника. Острые случаи до него не доходили. Играли мы прилично, после первого тайма вели один-ноль и могли бы получить два очка в турнирном зачете «Золотых перьев», если бы не казус за семнадцать минут до конца игры. Трое фисовцев шли на меня, я сделал подкат вперед, резкий, короткий, что позволило мне тут же вскочить с земли, мяч я не отбил, а выковырнул и накрыл его телом. Двое фисовцев проскочили мне за спину, а третьего финтом я уложил на траву. Впереди у нас могли возникнуть голевые ходы, мяч сейчас же надо было отправить либо Марьину, либо Гундареву. Но игроки торчали забором. Я чуть скосил глаза. К. В. стоял в прекрасной позиции. От него коридор для мяча шел прямо к Марьину. Марьин игрок был так себе: плохая дыхалка, техники никакой, глаза – в землю, но рывок имел отменный, а сейчас рывок вывел бы его прямо к воротам, забивай хоть пузом. Я отбросил мяч К. В., закричал: «Марьину! В разрез! Скорее! Марьину!» К. В. не поспешил исполнить мой совет, почти требование, на меня он не взглянул, а повернулся и послал мяч вратарю, Мартыненке. Силу удара не рассчитал, мяч покатился вяло, седьмой номер фисовцев, осаженный было моим подкатом, бросился за ним первым и мимо ошарашенного долговязого Мартына вклеил мяч в нашу сетку. Тогда я и наорал на К. В. Кроме матерных были произнесены и истинно обидные слова: «Не умеешь играть – не лезь в команду!» Поначалу К. В. пытался отшутиться: «Да что вы, братцы! За корову, что ли, играем?», но увидел глаза ребят, своих и чужих, нахмурился и опустил плечи. Позже в раздевалке, после душа, все отошли, пили пиво, дурачились, об эпизоде с К. В. не вспоминали, мне было неловко. Игрок-то он был неплохой. Резкий, смелый, не ныл от травм и не кичился ими. И хотел играть. Вышел бы случай с моим ровесником, я бы подошел к нему, извинился: «Старик, мало ли что может произойти в горячке игры, не обижайся!» Но сунуться с извинениями к К. В. ни сегодня (а он уже и убыл по делам, за ним подлетела «Волга»), ни завтра я не мог. Да и как бы расценил К. В. мои извинения? И вряд ли мои крики остались в его памяти. Через неделю мы играли с «Советским спортом». К. В. явился на предварительный сбор. И когда обсуждали состав, было заметно, он нервничал. Могли бы ведь напомнить и о его возрасте, еще кое о чем, хотя бы и косвенным образом. Но нет, мнение было общее, защитником на правый фланг ставить К. В. И он разулыбался...

– Куделин, ты верующий? – услышал я.

– Верующий?.. – растерялся я. – Я... Я – крещеный... По всей вероятности... Хотя не знаю... Отец-то у меня партиец...

– Я спрашиваю, ты – верующий?

– Я – комсомолец, – продолжал бубнить я. – А к православным традициям отношусь с уважением... Это история отечества...

– Фу-ты. – К. В. произнес это с раздражением теряющего терпение. – Я про одно, ты про другое... Вот вы с Марьиным суетитесь по поводу церквей, публикации готовите...

– Не церквей, а памятников архитектуры... Их столько наломали и еще ломать намерены...

– Ну ладно, успокойся, успокойся! Памятников так памятников. Сейчас к этому делу отношение благосклонное. И в твоей благонамеренности никто не сомневается. Ведь ты, Куделин, благонамеренный?

– В каком смысле благонамеренный? – взволновался я.

– В самом прямом и простом. Или ты только прикидываешься простаком со старомодными установлениями? А сам живешь со своей дудой и своими ожиданиями?

– Никем я не прикидываюсь! – сердито сказал я. – Как живу, так и живу.

– Скорее всего, оно и так. Ты весь просвечиваешь... Нет, Куделин, ты не игрок. Не игрок!

– Я... Кирилл Валентинович...

– Не командные игры имею в виду, – сказал К. В. и встал. – А всякие мелочи, вроде квартир, можно приобрести и поиграв. Не в карты, естественно. Но не всякому дано... Увы!

Я тоже был намерен встать, но К. В. движением руки повелел мне сидеть. Сам же принялся прохаживаться по кабинету, не роняя слов, будто бы обдумывая опечалившее его открытие: Куделинто – не игрок, а смиренная благонамеренная личность. Да на кой сдался ему этот Куделин, растерянный, а может, и разобиденный (и на самого себя, конечно)?

В те минуты я вовсе не занимался созерцанием натуры Кирилла Валентиновича. Но рано или поздно, хотя бы из литературных приличий, следовало бы сказать кое-что о внешности нашего Первого зама. И я подумал: а почему бы не сделать это сейчас?

В ту пору молодежный начальник (а молодежных-то ход времени и фортуна по ковровым дорожкам сопровождали в начальники взрослые, а потом и в степенные) не мог быть не только инвалидом, уродливым лицом, болезненным, но и просто непривлекательным. Существовала система «смотрины» кандидатов в лидеры (кандидаток я сейчас касаться не буду, там были свои смотрины и проблемы) и перед выборами, и перед утверждениями, и перед показом кураторам, и пр., и пр. Лидеры должны были нравиться массам, вызывать их доверие и располагать их к себе, как располагали к себе герои (не плакатные, упаси Боже, не плакатные!), а оживленные Урбанским, Баталовым, Юматовым, Столяровым, Лановым. Да и мужичко-спортивная крепость была бы в них не лишней, она бы свидетельствовала об их силовой надежности. Ну и гагаринская улыбка не помешала бы. Или хотя бы улыбка Бернеса. Ценилось также умение носить костюмы современных деловых людей европейских достоинств, забыв при этом о габардиновой серости и фетровых шляпах нафталиновых секретарей. Должен добавить, что, как правило, не было удачи на «смотринах» малорослым. Достижения прежних мелкими размерами вождей не принимались во внимание. «Нынче стиль иной...» Претендент ростом выше метра семидесяти пяти на «смотринах» имел преимущество перед соперником ниже ста семидесяти сантиметров, пусть и обладавшим лицом самым что ни есть открыто-доброжелательным.

К. В. подобным «смотринам» не подвергался (если и случались какие «смотрины», то иного рода). Его движение было профессионально-творческим, оно и привело его в номенклатуру с ее правилами развития. Но теперь К. В. выглядел так, будто бы в свое время упомянутые мной «смотрины» он заслуженно прошел. Мужик был что надо. В соку. Крепыш, роста при этом отнюдь не малого, широкоплечий, но не тяжеловес, вполне стройный и даже элегантный. Единственно – он косолапил или даже был немного кривоног. На футбольном поле это виделось отчетливо. К. В., говорили, рос офицерским сыном, из гарнизона – в гарнизон, там всюду были лошади, и он с детства уважал себя кавалеристом. Он и теперь с помощью ребят из спортивного отдела приятельствовал с конниками и в свободные часы чуть что – взлетывал в седло, осанка его, рассказывали, вызывала уважение. Состояние духа и мышц он вообще старался поддерживать. Увлекался аквалангом и водными лыжами, дважды в отпуск отправлялся в тьяншанские походы с альпинистами, в прошлом году делал вылазку на медведя, причем не на обреченного бедолагу в завидовском хозяйстве, а с деревенскими охотниками в вологодском лесу. Замечу, что и стрелком офицерский сын считался хорошим. Помимо всего прочего, разговоры о стиле жизни К. В., хотя бы отпускной или досужей, создавали ему репутацию охотника и удальца, а по входившей в оборот терминологии – плейбоя и супермена. Нынче при воспоминаниях о тогдашнем Каширине на ум мне приходит Николай Расторгуев из группы «Любэ», но, пожалуй, К. В. был повыше ростом, шею имел подлиннее и лицо потоньше...

По установлениям времен сотрудники влиятельного департамента на Маросейке, кому подчинялась наша газета, обязаны были приходиться на службу в костюмах, разумеется, при галстуках и белых рубашках. Взрослые подручные партии этажами ниже нас тоже – и чаще всего с удовольствием – соблюдали правила социального приличия. Наши же мастера, юноши и девицы, считали себя независимыми творцами, уставную принадлежность к департаменту относили к дипломатическим атавизмам, себя же полагали фрондой, а ношение галстуков, синих и темно-серых пиджаков причисляли к дурному тону или даже к актам политических уступок. А то и к предательствам идеалов. Во всяком случае, каждый надевший галстук без объяснимой в тот день причины (свадьба, поход в театр, съемки для паспорта) мог быть признан делающим карьеру. Ковбойки, водолазки, свитера, куртки – вот в чем было принято являться в редакцию и во всякие уважаемые и неуважаемые помещения. К. В. мог позволить себе визиты без галстука (в костюме, конечно, не в джинсах же) и в строения на Старой площади, хотя там он не был любимцем, принцем-дофином. Там он скорее был на подозрении. Ведь ход к продвижению дал ему Никитин ЗЯТЬ, Аджубей Алексей Иванович, сам, пусть пока и не четвертованный. Но униженный нынче необходимостью не иметь имени, а иметь псевдонимы, задвинутый в затхлые и без лестниц в небо комнаты на улице Москвина. Кастратоголосый Михаил Андреевич Суслов ехидств в свой адрес и уж тем более посягательств на сан кардинала не прощал. И все же, несмотря на ненавистного Зятя, шептала молва, Михаил Андреевич зла на К. В. не держал и будто бы видел в нем нечто надежно-родственное (а вот деликатнейшего нашего Главного, О. Б., он не миловал и был намерен сгрызть. И сгрыз, и отправил кости в Берлин). А К. В. мог бы прибыть к нему на вызов и в водолазке. Впрочем, Михаил Андреевич сам не любил костюмы и галстуки, а комфортно, говорили, ощущал себя во френчах, толстовках и в грубом, но теплом (мерзляка!) нижнем белье. (Тут я опираюсь на молву и редакционные легенды.)

И вот теперь К. В. рассказывал передо мной в водолазке под светло-бежевым пиджаком, явно купленным где-нибудь в Брюсселе.

– Что-то мы с тобой, Куделин, заболтались, – сказал К. В.

– Извините, Кирилл Валентинович! – вскочил я. – Я сижу у вас, как... Я уйду...

– Во-первых, я тебя не отпустил, – сказал К. В. – А во-вторых, мы сейчас попросим Тамару принести нам по чашке кофе с какими-нибудь баранками...

Мне пришлось подчиниться. Приглашенная кнопкой буфетчица Тамара, сытная, смуглая, но краснощекая дама лет сорока пяти, тотчас принесла кофе с баранками и отчего-то подмигнула мне, будто бы понимающе. При Главной редакции существовал буфет, кормивший начальство обедами, с изысками в меню («куропатка жареная со спаржей») и ресторанными достоинствами блюд. Кому положено, там можно было и прикупать продукты домой. По сходным ценам. Некоторые члены редколлегии, из свежих, по привычке демократического или даже еще студенческого столования, ходили с подчиненными в комбинат питания типографии напротив, но никто в этих хождениях особенных подвигов не видел.

– Лелька, дочь уборщицы Зои, – сказал К. В., будто дворовой новостью поделился, – нанялась к нам секретаршей...

– Да, – согласился я.

– Говорят, Мальцев стал ее ухажером?

– Я не близок с Мальцевым, – сказал я. – И о его симпатиях ничего не знаю...

– Общее же суждение, что ты во всех отделах свой, повсюду бываешь, все про всех знаешь и все с тобой привет ливы... – Просто я полагаю, что все вопросы по смысловой точности надо решать в отделах и заранее, а не вызовами на седьмой этаж. В горячие мгновения. Поэтому я спускаюсь на шестой этаж, и все проходит без нервных напряжений и обид... Ущерб у моей памяти пока нет, я знаю, в каких документах и источниках есть необходимое, ко мне обращаются за советами, еще работая над статьями... Я стараюсь относиться про-

фессионально к делу и захожу в отделы вовсе не для того, чтобы вызвать общую приветливость... Ее, кстати, и нет...

– Да... А твоя начальница сидит будто на вышке над всеми над нами, – произнес К. В., – и басом по телефону производит указания.

– Я с уважением отношусь к Зинаиде Евстафиевне, – сказал я. – Просто у нее своя манера работать, а у меня своя...

– Эко ты мне благообразно и следуя служебному соответствию отвечаешь, – покачал головой К. В. – Скажи, а вот самиздатские рукописи ты читаешь?

– Нет, – отрезал я. – И в руки не беру.

– Даже Набокова? Он-то ведь безобидный... Но мастер... Или «Доктора Живаго»?

– И Набокова тоже. И «Живаго»...

– Из боязни?

– И из боязни. Но не только... Из принципа...

– И что же это за принцип такой? Если не секрет...

– А принцип такой. Я не имею права позволять себе читать то, что недоступно народу. То есть всем...

– Ты, Куделин, не только благонамеренный. Ты еще и зашнурованный! – теперь К. В. и рассмеялся. – Но в наше-то время и при наших-то знаниях чрезвычайно трудно прожить без разумного цинизма. Тебе как благонамеренному я порекомендовал бы цинизм исторически-жизнеутверждающий. Без него ты, пожалуй, и квартиру из государства не сумеешь выбить. Кстати, учти, что и первые наши перья – Ахметьев, Марьин, Башкатов – получают квартиры не через год и не через два...

С чего бы вдруг К. В. смешал сейчас Ахметьева с Марьиным и Башкатовым в одном компоте, понять я не мог. Ахметьев пребывал в ином государственном наборе, и ключ ему могли вручить от чертогов на Кутузовском проспекте. В случаях с Марьиным и Башкатовым, было известно, К. В. проявил слабость. Чиновные удачи его как бы и не радовали, а вот литературные – волновали. Тщеславным оказался К. В., тщеславным! Как человек пишущий он ставил себя очень высоко. В газету очеркистом его взяли со второго курса, это все равно что баритона со второго курса консерватории позвать в Большой петь князя Игоря и Эскамильо. Или девочке из предпоследнего класса училища предоставить в Большом же дебют в роли блистательной Китри. И позже – светлейший Зять был доволен К. В., всячески его поощрял. К. В. выпускал книгу за книгой, после лауреатского прорыва Пескова и его представляли на Ленинскую, он ее не получил, но запомнился как соискатель. И тут совсем недавно два молокососа, два его собственных клерка, Башкатов и Марьин, издали: один – повесть, другой – роман, по ним поставили фильмы, и их сейчас же приняли в Союз писателей, дело по тем временам серьезное. То есть перевели в разряд иных перьев. Или даже иных людей. Этот их прием в писатели, причем с приглашением и без всяких унижительных осложнений, которых опасался сам К. В., в особенности задел, раздосадовал и даже рассердил его. Экая мелочь – и туда же. А кто они (Марьин тот же – начитанный стилист, и только) и кто он? Сам же он, К. В., правда, в ту пору почти не писал, а если что и публиковал, то – путевые заметки из многих стран, раздираемых глубокими противоречиями, он их надиктовывал стенографисткам. «Ну и что! – заявлял К. В. – Вот и Симонов прозу диктует!» – «Оттого у него и проза, – горячился Марьин, – дрянь, что он ее диктует!» Оценкой почитаемого К. В. писателя Марьин еще более раздражал оппонента. А необходимость выехать из коммуналки семьи Марьиных (шесть человек) была совершенно очевидная. К Башкатову К. В. относился как будто бы спокойнее, тот был юла, мог подыгрывать К. В. и даже согласиться исполнить его задания-капризы, дабы показать, что он-то управляемый и знает свой шесток. И тем не менее сейчас К. В. опять соединил его с Марьиным и на годы отдалил от квартиры.

На что же было надеяться мне, и не перу вовсе, а техническому закорючке?

– Да, Куделин... – протянул К. В. – Да... Ну что? Даже если ты и не прикидываешься сейчас Акакием Акакиевичем, то при своей благонамеренности и благопристойности кому-нибудь и на что-нибудь, может быть, ты и понадобишься... Да... Вот еще... Говорят, эта наша новая красотка Цыганкова, стажерка в школьном отделе, оказалась сорвиголовой, или, как ее называли уборщицы, оторви да брось?

– Я ее видел издалека... – смутился я.

– Издалека! Хм... Издалека! – К. В. даже поскуучнел. – Ты, может быть, не только благонамеренный, но и соблюдаешь обет целомудрия?

Переносить этот разговор я более уже не мог. Я встал.

– Ладно. Чтоб ты вконец не расстроился, я тебе сейчас презентую одну вещицу... Обожди...

Он ушел в ту самую комнату отдыха и тотчас вернулся с фарфоровой вещицей в руке.

– Не расстраивайся и не обижайся... Вот держи... В знак благоожиданий и надежд... Да! – К. В. будто спохватился. – Ты этой своей начальнице и благодетельнице о мелочах нашего разговора не докладывай. Эти педантессы с причудами. Она еще возьмет и передаст своим друзьям, древним большевикам и политкаторжанам, какую-нибудь ерунду с искажениями.

А через час я и встретился в холле шестого этажа с Глебом Аскольдовичем Ахметьевым, известившим меня о четырех убиенных. С чего и начался мой рассказ.

5

На следующий день на работу мне надо было прибыть к двум часам.

По голове и по почкам бить меня ногами я не дал, укрылся, ребра болели, но, исходя из опыта проживания, можно было понять, что они не сломаны. Миозит же мог осложнить мне жизнь недели на две. «Завтра и послезавтра, – предположил я, – болеть будет особенно. Потом полегчает». Рожу мою разукрасили в цвет, темные очки я не любил носить, у меня их не было. Гримом искажения в облике я никогда не замазывал. И теперь решил выйти из дома, каким натура моя вынуждена была иметь сейчас выражение.

В редакционном лифте я ехал один, да и в свою комнату я прошмыгнул мимо Зинаиды Евстафиевны безгласно. Все углы, закоулки и щели комнаты я обшарил, ящики столов повытаскивал и исследовал их, опускал руку и в отдохнувшую от бумаг корзину. Без толку. Конечно, вчера я убирал солонку в пластиковый пакет, клал в сумку, а трое разбойников из засады свое совершили: солонку в сумке обнаружили и изъяли ее.

– Василий, – в комнату вошла и забасила, не затушив сигареты, Зинаида Евстафиевна. – Я знаю, что ты не драчун. За что же тебя так извалтузили?

– Из-за барышни... – вяло сказал я.

– Ну прямо! Тебя – и из-за барышни! Я бы только обрадовалась, если бы из-за барышни... Особенно этой... глазастой... из школьного отдела.

«Про Цыганкову, что ли? Да что они все? – обиделся я. – Что они вбили в головы?»

– Вот тебе черные очки, – сказала Зинаида Евстафиевна. – Однажды кто-то у меня их оставил. Сам по отделам сегодня не ходи. Глаз-то видит? И как тебя не забрали в трамвае? И небось глаз слезится? Ага... А тебе надо читать... Аки коршуну, должному углядывать нынче движения в сжатой ниве... Сейчас я тебе принесу крепкий чай, холодный, для промывания...

Зинаида Евстафиевна была всегдашняя, в бурой полотняной блузе со стоячим воротником и множеством пуговиц, в черной суконной юбке до лодыжек, в ортопедической обуви – на взгляд непросвещенного, на самом же деле Зинаида Евстафиевна ногами не страдала, а полутуфли-полусапожки со шнуровкой невысоких голенищ, напоминавших ей обувь юных романтических лет, заказывала у ортопедов, в магазинах ее взорам было скучно. Носила она очки, по стеклам – пенсне, в ту пору чрезвычайно старомодные. Очень пышными и совершенно не седыми были русые волосы Зинаиды Евстафиевны, на голове ее они виделись шапкой, на затылке она собирала их в пучок, отчего шапка еще более увеличивалась. В молодости, распущенные, они, наверное, стекали ей до бедер. За глаза мою начальницу, заведующую Бюро Проверки, называли Вассой Железновой, при этом, скорее всего, приходила на ум не натура горьковской героини, а голос Веры Пашенной, игравшей ее. Такую даму следовало уважать и даже побаиваться. А К. В., наверное, знал о ней и ее друзьях нечто такое, что заставляло его в отношениях с ней и осторожничать.

– Вот, Василий, – снова вошла ко мне Зинаида Евстафиевна, – тебе стакан. И чайная ложечка. А пипетки нет. Если захочешь, зайди за ней в корректуру... И на тебе запасную полосу... Там три цитаты из Маяковского, по отделу Агутина, сразу почуяла, что с путаницей... И погляди статьи иностранцев... Они, сам знаешь, читают лишь Брэдбери и сочинения Флеминга, про Бонда... Некоторые, правда, заглядывают отчего-то в этого спекулянта и моралиста Франса...

Она вышла. И тут самое время объяснить, как я попал в известную газету, именно в Бюро Проверки, и что такое это самое Бюро Проверки.

В баскетболе есть скучное техническое выражение: обороняющаяся сторона поставила два заслона. Первый заслон – защитники, «малыши» (к ним относился упомянутый

мною Арменак Алачачан, метр семьдесят восемь), они суетятся, прыгают, машут руками, не давая соперникам прорваться в трехсекундную зону или совершить дальний бросок, в три очка. Второй заслон – большие, центровые, двухметровые, те на посту у последней игровой линии. Оба заслона – для того, чтобы не допустить, пусть и ценой фалов, то бишь нарушений, попаданий мяча, посланного противником, в свою корзину.

Во времена, о которых я вспоминаю, для того чтобы не случилось, упаси Боже, проникновения в тексты газет и всяческих изданий каких-либо безобразий и несовершенств, хотя бы и самых пустяковых, способных ослабить мощь Отечества, расшатать государственные устои, смутить народные успехи и порадовать умелых на козни клеветников, ставили не два и не три заслона. С десятков, а то и больше. Самые существенные и профессиональные укрепрайоны были возведены в нужную пору на Старой и Новой площадях. Там выращивались и утверждались люди, какие в самих газетах и изданиях не могли допустить ни малейшего смущения народосозидающего сознания. Далее существовал бастион с Недреманным Оком в Китайском проезде. Главлит. Какие еще очи не дремали в рассуждении ежедневного благослужения печатных форм, нам неизвестно. Но они и должны были не дремать никем не замеченными и не различимыми. А в нашем здании на разных этажах сидели охранители свои, привычные, тихие, не раздражающие, а потому и – не обидные. Два цензора, наблюдавшие за спокойствием военных секретов. Корректурa, та охраняла нормы и причуды русского языка, но имела в виду и то, что в случаях, ее не касающихся, но чрезвычайных, она обязана обратить внимание на политические странности текстов, возможно, также наносящие вред русскому языку. А у нас на шестом этаже обитало странно выдрессированное существо – «свежая голова». Точнее сказать, существо это было многоголовое. Оболочку его меняли каждый день. По графику. К шести часам вечера, иногда раньше, в редакцию должен был прибыть освобожденный от дел сотрудник, в меру уже проявивший свою ответственность, выпавшийся, трезвый, не переевший в обед, с ясными глазами, прибыть и начать искать в приходящих из типографии полосах ошибки. Понятно, что не корректорские, не географические, не искажения в названиях балетов и футбольных команд (ну подумаешь, опять наборщики испортили слово «Лебединое», они любят шутить с озером Петра Ильича, поправят корректоры, «свежей» же голове – зреть в Корень!).

Так вот, одним из последних упомянутых мною заслонов оказывалось и наше Бюро Проверки... Написав это, я спохватился, узрев неправомерность или неточность обращения к привычкам баскетбольной игры. Там заслоны выставлялись против чужих, их вызывали агрессивные усердия соперников, желающих вынудить наших сдаться. В издательских же делах опасались мячей, какие могли быть заброшены в оберегаемые народные корзины своими же... Либо по причине разгильдяйства, либо по причине непростительной легкости ума, по дурости объявляемой свободы и самостоятельности мышления, а когда и по причине лукавых влияний злых сил. Ну да ладно... Соображения мои и так достаточно прямолинейны... Продолжу...

Принимая во внимание развитие технических средств, я бы уподобил теперь Бюро Проверки компьютеру с энциклопедическими банками знаний, и исторических, и естественно-научных, и культурологических, и злободневно-событийных. Да, в этот банк непременно должны были бы впитываться и сведения о всех явлениях планетарной жизни моментальной свежести. Газетные же полосы необходимо было пускать, пусть и грязноватыми оттисками, в плавание по струям этих знаний (экие являются выпренные слова!), чтобы газета по точности, а стало быть, и по степени уважительности к читателям и своему профессиональному делу, была не хуже академических словарей. Только при этом и можно было бы верить газете. Зинаида Евстафиевна Антонова, Нина Иосифовна Белугина и Василий Николаевич Куделин и заменяли в конце шестидесятых годов в редакции нафантазированные мною банки данных.

По моим понятиям, и тогдашним, и нынешним, при газете, как и вообще при издательских делах, следовало держать два заслона. То есть две службы. Корректуру. Дабы не допустить языковых нелепиц. И Бюро Проверки. Ради культуры, журналистской и читательской. Но сейчас-то, если судить по печатной продукции, эти службы повсеместно упразднены.

А в Бюро Проверки на Масловке я попал таким манером. По причине инвалидности моих родителей мне, как единственному кормильцу (родители, конечно, подзарабатывали), назначили свободное распределение. Я кончал истфак МГУ. Студентом я переползал с курса на курс серым. Способности мои и моя натура вряд ли бы обеспечили мне удачи в науке. Да была ли история в ту пору наукой? Там и тут, правда, тлели ее очаги, но к дымящимся углям меня бы и не допустили. Предполагалось мне стать учителем истории. Но педагог я был никакой. Пребывал я, как поется в обращении красного кавалериста к девушке Лизавете – «в тоске и тревоге», но тут в один из дней между защитой (диплом был о годах Василия Третьего) и госами меня пригласили на собеседование с Главным почитаемой мною газеты. Я на нее подписывался, знал имена ее корифеев и даже верил ей. Верил настолько, что поучаствовал в трех ее читательских дискуссиях. Первая была о физиках и лириках, вторая – о смысле жизни, третья – о любви. От нечего делать и по глупости я записал на бумаге свои полемические соображения и послал их в газету. А их взяли и напечатали. Как помнится, на расстоянии школьной тетради от рассуждений самого Ильи Эренбурга. И цидули мои о смысле жизни и любви позже тоже опубликовали. В разговоре с Главным редактором, красивым и, как мне показалось, стеснительным человеком, выяснилось, что мои писанины запомнились, что в газете создается отдел студенческой молодежи и мне в нем предлагается должность стажера. А коли за год я проявлю себя, то стану и корреспондентом. Сбрасывая с себя уже примеренные вериги учительства, я согласился на стажерство без колебаний. Но за год удачных публикаций не случилось, на меня косились, сам же я пенял себе: «Здоровый мужик, а держусь за пятьдесят рублей!» – и подыскивал новое место поприща. Тогда-то меня – после уговоров – и перевели в Бюро Проверки. Каждому из начинающих полагалось на две недели быть откомандированным дежурить в Бюро Проверки. У Зинаиды Евстафиевны Антоновой была сотрудница Нинуля, барышня неизвестных лет, в монашеских одеяниях. Считалась она словно бы калекой, сухоручкой, скрючена у нее была правая рука, не будь она калекой, полагала она, сидела бы она теперь, по своим мечтам, в костюмерном цехе Большого театра. Проявляла она себя нервно, порой истерично, работницей же была старательной, но бестолковой. Властную и грубоватую Зинаиду Евстафиевну с ней связывало что-то особенное, какая-то история, разузнавать о ней и ее подробностях мне доверительно не рекомендовали. В последние годы Нинуля часто брала больничные, Зинаида маялась одна, но уволить Нинулю не давала, выбила, наконец, третью ставку. Но брать на нее работника ей позволяли лишь из штата редакции. «А дайте мне Куделина! – потребовала она. – Он был у меня две недели на практике. Я знаю ему цену!»

Оклад мне определили сто двадцать рублей. Вполне прилично. Мне были положены отгулы, когда и два дня в неделю. Двум моим одаренным однокурсникам я мог помогать в их затеях и долговременных программах у них в государственных архивах, за что тоже платили, пусть и копейки. А в случаях нужды я мог по студенческим связям и памяти проводить ночи грузчиком на Павелецком вокзале. В месяц я приносил старикам сто шестьдесят рублей и полагал, что имею право не считать себя повесой и блудным сыном. И в редакции я не ощущал себя более бесполезным человеком, мне объявляли благодарности в приказах, я узнал людей газеты, они узнали, чего я стою и чего от меня ждать, и во всяком случае не злились на меня. Так мне казалось...

Но теперь я сидел в своей служебной коморке² и горевал. Досады и тревоги мои вызвало вовсе не вчерашнее ночное происшествие на Третьей Мещанской, не мятые рожа и бока, а разговор с многоуважаемым К. В. (я на самом деле относился к нему с уважением, в частности – и с уважением). Многие слова К. В. требовали толкований и ответов, пусть и не произносимых, а собственная моя личность нуждалась в анализе, оценке, а возможно, и самобичевании. Кем меня видят, за кого принимают? Кто я есть, коли удостоился ТАКОГО разговора?

В дверь постучали. Я нервно надел темные очки и схватил нечитаную запасную полосу.
– Привет, старик! – вошел Владик Башкатов. – Ба! Да ты разукрашенный! Это когда же?
– Тогда же... – буркнул я.
– Ну-каними очки! – впрочем, Башкатов сам снял с меня очки. – Так, в рожу всего три удара. Крепких, но три. Значит, били по корпусу...

– И по корпусу, – подтвердил я.
– А где подарок К. В.? Покажь!
– Увы, его нет. Он уже не у меня...
– И отобрали те, что напали? А напали, когда ты вышел из нашей машины и направился домой? Сколько их было?

– Трое. Только вы отъехали, я прошел метров восемьдесят, и тут они выступили из темноты...

– Это потрясающе! – Башкатов был в восторге. – С какой скоростью все делалось! Это надо же было знать, что К. В. нечто тебе вручил, что сигнал подписали в два, что ты поедешь не к бабам, а домой, что к дому ты откажешься подъехать, а выйдешь, как обычно, на углу Трифоновской! А? Каково? Ты думал об этом?

– Я много о чем думал, – сказал я.
– Ты кому-нибудь говорил о посещении К. В.? Хвастался ли подарком К. В.? Показывал ли кому его?

– Тебе-то что? – сказал я резко.
– Потом объясню. Так кому ты показывал? Или кто сам с тобой заговаривал о визите к К. В.?

– Никому не показывал. А говорил со мной о визите один лишь Ахметьев.
– Глеб Аскольдович! – Башкатова опять захватил восторг. – Ну как же я о нем запамятовал! Ну конечно! И что?

– Ничего. Посулил мне неприятности. И напомнил о четырех уже убиенных.
– Именно! Именно! – заявил Башкатов радостно. – Четыре убиенных! Ты – избитый и ограбленный! То ли еще будет!

– Послушай! Тут какая-то чепуха. Отравившуюся и повесившегося я знал, для своих подвигов они имели собственные, особенные причины.

– Ты о многом, братец, не знаешь. И почти ничего не понимаешь! А Глеб Аскольдович, он – умница, и он не зря встревожился. Или возбуждился?

– И двое из четырех якобы убиенных якобы в связи с фарфоровыми изделиями – не наши.

– Не наши, – согласился Башкатов. – Но связаны с газетой. Я-то их знал. А ведь есть случаи пока неизвестные. Сколько фарфору выдано? А? Вот и дуй в ус!

– Прости, но все это ерунда! В наши годы, в нашей газете – у страны на виду! – и такие чудеса! Пещера Лехтвейса!

² Здесь и в ряде других мест сохранена орфография, являющаяся неотъемлемой частью авторского стиля. – Прим. ред.

– А ты слышал про нашего Героя Советского Союза с речной фамилией, то ли Тобольцева, то ли Енисеева? Уж какие были времена! Тридцать девятый год, всех на этаже брали, а он Берию облапошил! Да каким образом!

– Очень смутно что слышал...

– Расспроси Комаровского. Он тебе расскажет.

– Это который Стрельцова посадил?

– Ну не он, конечно. Его руками, его пером... Посадили Зять с Тестем... Ни за что! Ради красного словца. Любимца народа! Кулаком по столу! И привет! Эдика Стрельцова посадили ни за что, а ты говоришь – нет чудес!

– Разные вещи... – промямлил я.

– А про этого, который Берию облапошил, наверняка твоя Зинаида знает...

– Мало ли что она знает.

– Ты рассмотрел, что тебе выдали?

– Мельком. Солонка. Определенно солонка. Птица с прижатыми к бокам крыльями. Дырочки маленькие в ее голове... И все... Ростом в два спичечных коробка...

– Я бы часа два вертел твою солонку, все бы рассмотрел...

– Мне было не до солонки... – мрачно сказал я.

– А-а-а... Понимаю, – сообразил Башкатов. – К. В. с тобой поиграл... Ах, Кирюша, Кирюша! Решил провести еще один опыт... Чем же ты, Куделин, так его заинтересовал? И ради каких его польз? Ну ладно, позже разберемся... Ты в милицию заявил?

– Из-за солонки-то? – А рожка и ребра? – Сам виноват. Надо было бить первым.

– Ну как знаешь...

На вид Владик Башкатов был совершенный балбес. Рыжий, худющий, ушастый, с длинной шеей, гусь. И нос имел протяженный, впечатляющий, но не гусиный, а тонкий, острый. Любил балагурить по поводу своих мужских достоинств, указывал при этом на нос, приглашая слушателей к ассоциативному мышлению. «Значит, он у тебя – негритянский, – кивали собеседники. – Длинный и как веточка». Башкатов возмущался, призывал в свидетели своих славных мужских удач Проровнера: «Проровнер не даст соврать!» Илюша Проровнер был фотограф, не раз ездивший с Башкатовым в командировки. В свои тридцать лет Башкатов мог сойти за парнишку, выросшего из ношенных ковбоек и китайских парусиновых брюк (с джинсами тогда были сложности), носил он и китайские кеды «Три мяча». Можно было предположить, что он из беспризорников или из семьи, не мучившей потомство воспитанием. В разговорах любил почесывать грудь и бока, да все, что чесалось, слушал чужие слова именно разинув рот, а уж поковыряться в носу было для него первейшим делом. В действительности же Башкатов происходил из семьи потомственных электротехников («С Якоби начинали, с ним...»), по традиции и по душевной расположенности – театралов. И теперь у Башкатова было много приятелей среди модных актеров, скажем, из «Современника». Сам Башкатов рвался поступать в Щуку (дядя служил в Вахтангове), но семья выдавила его в Бауманское. Проработав несколько лет в конторе Королева, он попал в газету, в отдел науки. Артист в нем, видимо, не был истреблен, он любил прикидываться олухом и простофилей, коли обстоятельства склоняли его к этому. Иногда ради развлечения, иногда ради выгоды. Но сейчас передо мной он вроде бы не играл, делал записи в блокноте, кряхтел и почесывал в носу, что соответствовало его творческому и розыскному удовлетворению.

– Ну вот, – встал Башкатов. – Очень интересно. Очень. Остается ждать новой солонки.

7

Долго ждать не пришлось.

Новой для Башкатова солонкой оказалась моя. Два отгульных дня я читал бумаги, переданные мне моим более, нежели я, одаренным сокурсником Алферовым. Костя Алферов был теперь аспирант, исследующий деятельность российских дипломатов второй половины семнадцатого столетия, то есть времен Алексея Михайловича, в архиве на Пироговской. В студенческие годы мы привыкли советоваться друг с другом. И сейчас он вручал мне выписки из архивных документов со своими соображениями на полях, и мы, прикупив пиво, в его квартире на Русаковской смаковали подробности жизни боярина Ордин-Нащокина. Ему бы, говорил Костя, жить во времена Петра. Впрочем, Ордин-Нащокин был хорош и в свои времена. И он прорубал окно в Европу. Вообще о допетровских или канунпетровских боярах-вельможах – разговор особый. И не здесь...

Итак, я явился в свою комнату после отгулов и сразу увидел на столе фарфоровую солонку. Я схватил ее, осмотрел, потряс ее, ничего не высыпалось, поинтересовался у Зинаиды Евстафиевны, не знает ли она, кто поставил мне на стол птичку, не знает, не видела, отвечала начальница, как она пришла на работу, так эта птичка на столе и стояла.

Я посидел полчаса с солонкой и позвонил Башкатову. Башкатов принесся тут же, в отделе их для нужд науки имелась лупа, сейчас она, естественно, была в руках Башкатова.

– Та самая? – спросил Башкатов.

– По моим понятиям, та самая.

– Ну хоть бы и не та самая, – сказал Башкатов. – Хотя бы и копия ее. Важен сам факт приноса-возвращения тебе этой солонки. Открыть ваши комнаты – дело простейшее. А коли бы они хотели оставить следы, они бы их оставили.

– Кто они? – спросил я.

– А я откуда знаю! – рассердился Башкатов. – Но в самом акте возвращения непременно есть смысл. Или вызов. И уж точно продолжение игры.

– Просто кто-то шутки шутит, – предположил я.

– Ничего себе шутки. Вызов бросают! А игра у них, может быть, адская...

– Мне, что ли, вызов? – удивился я.

– Ну уж прямо тебе! – поморщился Башкатов. – Ты-то им на кой ляд нужен! И он махнул рукой. Видимо, признавая меня в этом деле пустяковиной. Или деревянным болваном.

Исследование солонки (не исключено, что уже как улики или вещественного доказательства) вышло обстоятельным. Совершал Башкатов и естественные действия, произведенные и мною. Но увидел я и манипуляции для меня неожиданные, вызвавшие мое удивление или даже уважение. Башкатов доставал из карманов (нынче он был в вольной куртке из серо-бежевого с крапинами букле) флаконы, кисточки, пакетики, скребки. Заполнял солонку сквозь большое отверстие под лапами птицы белым порошком, порошок же через дырочки для соли ссыпал затем в аптекарский пакетик и выводил на нем буквы с цифрами. Вливал в солонку жидкость, ее же выливал в пустой флакончик. Мазал розовым желе головку птицы, кисточкой укладывал желе в банку. Много нюхал птицу с разными степенями внимания и интереса. Прикладывал солонку к уху, будто морскую раковину, надо полагать, в намерении услышать отдаленные разговоры тайных злодеев. Я явно ощущал физически-страстное желание Башкатова самому уменьшиться и ввинтиться вовнутрь солонки.

– Часа на два я у тебя ее заберу, – заявил он наконец. – Заводской знак непонятный. Старый. Но вещь не музейная. И не дорогая. Но очень может быть, что входила в набор. Тогда, можно подумать, набор был своеобразный. Что за птичка-то? Вроде бы сова. Но разве сова? Брови густые. И нос не крючком. А глянь в профиль – Бонапарт! И прядь надо лбом знакомо

скошенная. И крылья, прижатые к бокам, словно фалды. Фрак или сюртук. Наполеон порой должен был ходить и в цивильном. Когда? При каких обстоятельствах? Выясним. Что еще интересно. Номер пятьдесят семь. Выведен какойто странной зеленой тушью. Понятно, что это не пятьдесят седьмая солонка, выданная К. В. Не коллекционный ли это номер Кочуй-Броделевича? Или номер вывели раньше и на других основаниях? Неизвестно. Внизу птицы, вот смотри, опоясывающая канавка – стало быть, птичку, сову с Бонапартом, могли держать в подставке, скорее всего высокой и из хорошего металла. А коли так, место ей могли отводить видимое и почетное. Но зачем водружать на пьедестал солонку? Загадка... И что хотели найти в этой птице, раз ее похищали?.. Не знаю... Но ты понимаешь, что вынужден стать теперь моим помощником?

– С чего бы вдруг? – поинтересовался я.

– Ну не помощником, – тут Башкатов быстро взглянул на меня, что-то соображая, почесал грудь. – Вроде бы советником-консультантом. Ты же историк и сможешь оценивать ситуацию и ее персонажей своими способами. А своеобразие мысли порой открывает сейфы и без кода.

– Я такой же историк, – рассмеялся я, – как ты сыщик.

Башкатов надулся. А я, сознавая, что совершаю бестактность, не смог остановиться и выпалил:

– Ты вот так и не смог поймать снежного человека!

Я ожидал, что Башкатов тотчас же меня осадит, но он обиженно сжал губы. Башкатов занимался делами космоса, темой для газет в ту пору наиважнейшей, каждая мелкая новость в ней могла быть планетарной сенсацией. А Владислав Антонович умел добывать материалы из первых рук и без секундных опозданий, а часто даже и с опережением событий. Он имел выходы на Сергея Павловича Королева. Тот согласился быть консультантом повести Башкатова и его фильма. Но космические публикации допускались не часто – либо по случаю (запуски, годовщины), либо в связи с зарубежными разъездами слетавших уже космонавтов. И у Башкатова было время для писаний и командировок, с сутью отдела не связанных. То он ухитрился попасть в сельдяную экспедицию и купил в Гибралтаре обезьяну. То, вызвав доверие чекистов, уговорил их взять его наблюдателем при поимке загнанного уже за красные флажки матерого британского агента, о чем написал очерк с продолжением. То он искал клады и пропавшие библиотеки. И был страстью Башкатова снежный человек. В ту пору снежный человек находился в чрезвычайной моде. Он, нисколько не вредя пришельцам, заменял тогда черную и белую магию (не для Башкатова, тот и магию признавал), Чумака с Кашпировским, астрологов, слепого музыкального компилятора из секты Синрикё, одержимую белыми бесами непорочную киевскую девицу Цвигун. Из снежного человека позже произошли или даже вылупились лох-несские чудовища и пережившие мамонтов гигантские крокодилы в якутских озерах. Тогда ощущалось в публике, что снежного человека вот-вот отловят и в ходе развития мироздания случится нечто замечательное. У нас в редакции за снежным человеком с особым тщанием гонялись трое. И у каждого из них снежные люди были разные. Репортерша Марианна Градова (не раз выкрикивавшая в телефон, но на все коридоры: «Я не женщина, я – репортер Градова!»), та долго ждала обещанных вестей о каракалпакском Маугли, воспитанном в холмах Устюрта шакалами, варанами и змеями. Полетела к разысканному Маугли, слала после его мычаний шифрованные телеграммы в Москву, но отчего-то устюртского Маугли, достаточно шерстистого, велено было засекретить. Второй охотник, бравый мужчина с усами и локонами Арамиса Жорж Сенчаков, собирался в горы Дагестана за снежным человеком кавказской национальности. Прошу извинения, я забыл его специфическое прозвище, как-то на «к»... Нет, вспомнил – «каптар». Сенчаков приобрел горский кинжал, показывал его мне. Он располагал документами некоего геолога, цветного металлурга, с описаниями горного обитателя и фотографиями меховой фигуры в полный

рост, но на дальней скале, и отпечатками нижних конечностей в снегу. В горах, пусть и с кинжалом, и с сетями, Сенчаков искомое не раздобыл. А когда в Москве он пришел к геологу с отчетом, тот, рассмотрев волосатую спутницу Сенчакова, Ингу, не выдержал и признался, что его документы-исповеди с фотографиями – розыгрыш и мистификация. А Башкатов темнил, не хвастал, не сверкал кинжалами, а готовился к подвигу тихо. Однажды пропал куда-то, и через день забили в литавры: «Экспедиция профессора Поршнева обнаружила в одной из пещер на Памире снежного человека! В составе экспедиции – известный журналист В. Башкатов». Позже сообщили, что обнаружен не весь снежный человек, а лишь его скальп. Но и скальпа достаточно. Однако уже в Москве экспедицию ждал конфуз. Скальп, определили специалисты, принадлежал обезьяне. Причем не крупной. И неизвестно, по каким мотивам из теплых индийских или пакистанских зарослей двинувшей во льды Памира. Выходило, что ради посрамления известного профессора Поршнева и не менее известного энтузиаста В. Башкатова.

Вот к каким обидным воспоминаниям я отослал Башкатова своими уколами, вызвав, как выразился бы изящный редакционный стилист Бодолин, печальные звоны тонких струн души Башкатова. Я хотел было извиниться, но Башкатов вдруг заявил:

– Сам-то, скромный скромник, а на Цыганкову глаза вылупил!

– При чем тут Цыганкова? – растерялся я. – С чего бы глазеть на какую-то Цыганкову?

Но Башкатов продолжил атаку:

– А то я не вижу твоего интереса, вполне возможно, болезненного и даже неосознанного, при твоей-то стыдливости...

– Да вы все одурели, что ли? – расстроено пробормотал я.

– А! Вот! – обрадовался Башкатов. – Не я один, значит, заметил... Думали, что ты на Чупихину глаз положил, а тут Цыганкова взяла и появилась... Тебя небось и К. В. уязвил... Представляю, что он тебе вообще мог наговорить... Ты-то сам никому не расскажешь об этом разговоре... Устыдишься! И почему солонка возникла в конце разговора?... А с Цыганковой я не советовал бы тебе иметь дело...

– Это оттого, что ты сам крутишься у дверей школьного отдела?

Да что же это мы? Что же я? Будто мы стоим с Башкатовым между партами седьмого класса и собираемся после уроков стыкаться во дворе!

– Я-то что! Я-то ладно! – заявил Башкатов. – Я-то бабник! Опытный боец! А ты... Ну ладно, вернемся к делу. Запри дверь. Так будешь ты советником-консультантом?

– А не влипнем ли мы в историю, в какую не надобно совать нос?

– Может, и влипнем. Но это же будет одно удовольствие! Или ты дрейфишь? Если дрейфишь, ко мне не подходи и обо всем забудь!

– Но я...

– Но ты уже влип! – восторжествовал Башкатов. – Влип! И забыть о чем-либо тебе не дадут! В этой истории много линий. Ты пока состоишь в короткой внешней связке из трех видимых элементов: К. В. – ты, Куделин, – разбойники-грабители.

– Есть и четвертый видимый элемент, – сказал я. – Кочуй-Броделевич.

– Верно! Сечешь! – обрадовался Башкатов. – Всю подноготную Кочуй-Броделевича и его коллекции надо вызнать в подробностях.

– О ней писала Рюмина.

– Рюмина – дама поверхностная. И все выложила в заметке. А я разговаривал с Кочуй-Броделевичем... Коллекционерами, отринувшими его, я займусь сам. А ты... Сможешь ли ты со своими приятелями добыть или составить родословную Кочуй-Броделевича?

– Это дело выполнимое, – сказал я. – Хотя и не скорое...

– А Ахметьева?

– Что Ахметьева?

– Не могли бы вы, забравшись в бумаги, выковырнуть еще и родословную Ахметьева Глеба Аскольдовича? Особенно по материнской линии, там были какие-то немцы, бароны... И важно выяснить, не пересекались ли в веках кланы коллекционера и нашего златоуста.

– С чего бы вдруг тебя взволновал Ахметьев? – поинтересовался я.

– Но это ведь он сам пристал к тебе с солонками! И личность он демонстративно-оригинальная. Боярин, монархист, а пишет речи и мемуары главнейшим большевикам... Да... Ты, я вижу, фарфоровую ситуацию всерьез не воспринимаешь... А зря... Ну ладно. Солонку номер пятьдесят семь я верну тебе часа через два. И поверь мне: в ближайшие дни произойдет нечто, что заставит тебя устыдиться. А от Цыганковой ты отстань. Искренне тебе советую. Отопри дверь.

Уже перед дверью Башкатов сказал:

– Сейчас же разболтаю о возвращении солонки, и посмотрим, кто явится к тебе первым. Не удивлюсь, если им будет Глеб Аскольдович Ахметьев...

– Он в канцелярии Климента Ефремовича...

– Вернулся. Я видел его в коридоре.

Через полчаса в мою дверь постучали, и это явно была не Зинаида Евстафиевна, да она и стучала в редких случаях. Посетителем оказался Боря Капустин из отдела опять же науки. Рослый, худой, отчасти похожий на киевского футболиста Блохина, он был парень шалый, легкий на подъем, не менее склонный к авантюрам, нежели его коллега Башкатов. Но он не ловил снежных людей, его тянуло под воду в батискафах и ввысь на воздушных шарах, он пытался воскресить дирижабли и под покровом некоего оборонного института участвовал в опытах по выживанию. Его выбрасывали в сибирскую тайгу, пока – летнюю, на необитаемые острова в Охотском море без провианта и подсобных средств. И он выживал. Вид у него был озабоченный, он сразу заявил:

– Давай показывай!

– Она же у Башкатова, – удивился я.

– Нужна мне твоя солонка! Показывай ребра!

– Не сломаны. Ноет. Болит. Миозит. Следствия ушибов.

– А ноги?

– Ничего. Внизу – ничего, бедра в синяках. Гнуться больновато. Мениски целые.

– Суки! Из-за дерьмовой солонки! И К. В. хорош! А я только узнал. Против «Смены» все равно выйдешь. В ЦИТО свожу, на процедуры, мази подберем для грудной клетки и крестца, и выйдешь!

Интерес Капустина к моим травмам, болям и восстановлению физических совершенств организма был вызван не сострадательными свойствами натуры Капустина, не придремавшими в нем комплексами Эскулапа, а должностью капитана футбольной команды. Сам Капустин, в юниорстве – чемпион Москвы на сотке, десять и девять, играл у нас на левом краю.

– Ну, все, – сказал Капустин. – Вижу – ты будешь в норме. Должен тебя предупредить. Башкатов мне приятель, но ты мне нужен на поле в товарном виде. Тебя он намерен, я чую, вплести в интригу, которой ты рад не будешь. Держись от нее подальше.

После Капустина меня посетил редакционный денди и классик, по убеждению местных эмансипанс-дам, Дима Бодолин. Я даже привстал со стула от удивления. У кураторов, служебно-вынуждаемых посещать шестой этаж, встречи с Бодолиным в коридорах вызывали недоумения. Это художник, это артист, успокаивали их, его ранние рассказы хвалили Шолохов и Паустовский, он кончил ВГИК, сценарный, а у них сами знаете, какие привычки и манеры, какие там Софи Лорен и Брижит Бардо. Принадлежность Бодолина к ВГИКу должна была истребить всяческие опасения и оправдать пребывание в ответственной газете воздушного создания. Вот и автор «Председателя» учился во ВГИКе, плейбой и гуляка, а фильм его

вышел государственный. Бодолин до автора «Председателя» пока не дорос, но мало ли что?.. Одевался он модно и дорого, вещи покупал в комиссионках и у фарцы, из-за нарядов мог бы попасть в фельетоны Комаровского как «вырокенроливавший» из стилига. Любил носить блузы живописца («только сейчас из мастерской»), длиннополую шинель без погон (то ли солдат, то ли полевой офицер), а то и ватники, опрятные, без следов и запахов трудовых усилий. Шею украшал бабочками, фигурными узлами шарфов, цветными платками, то ли барда, то ли флибустьера. Почти все взрослые родственники Бодолина были артистами, оперными, балетными, опереточными, иные из них – известными. Мать получила Народную еще до войны, отец отсидел в лагерях, вернулся домой никчемным стариком, но и теперь, рассказывали, был красив. Красота же Димы со влажностью очей была отчасти старомодной, будто бы из окружения Веры Холодной, какой-то томительно-знобкой, возможно, и именно чарующей (дам, естественно, дам, но мне их не понять). Успехи у Димы были легендарные... Среди работников газеты, чаще всего – довольно спортивных или просто озабоченных тяготами службы и быта, Дима выделялся своей барственной вальяжностью. И если с кем-то у него и было общее, то с Глебом Ахметьевым, человеком, в сущности, совсем иного склада. (Я перечитал написанное выше и понял, что мог создать – скорее всего и создал! – впечатление о Бодолине как о позере, пошляке, удачливом искусителе и вообще, если принять во внимание этические положения фельетонов Комаровского, как о личности, склонной ко всяким подлостям и пакостям (и имя ему следовало бы иметь Аркадий или Эдуард). Просто я плохо знал Бодолина и не имел к нему интереса. Он был мне чужой. Я вырос в иной среде, в иных привычках, в иной эстетике, наконец. Показно-презрительное отношение Бодолина к спорту, к спортсменам и вообще физически развитым людям как к быдлу рождало и мое презрительно-ответное отношение к Бодолину. При этом мое презрение было приправлено и жалостью. Но какое я имел право жалеть его или судить его? Меня создавала жизнь грубая, его – жизнь с иными словами, звуками, жестами и запахами. Мы не совпадали. Мне не по нраву была, в частности, манера его очерков. Ну и что? Ну и что?)

– Старик, – сказал Бодолин, – говорят, тебя одарили неким художественным произведением. Не соизволите ли показать?

– Не соизволю, – сказал я.

– Отчего же так?

– Оно у Башкатова. На исследовании...

– А что ты так напрягаешься и ерепенишься?

– Твое... – Я чуть было не сказал «ваше», и это было естественнее при моих отношениях с Бодолиным, но тогда – по приличиям газеты – я отнес бы его к начальникам и тем бы оскорбил Бодолина. – Твое появление здесь меня удивило...

– Я – профессионал, – деликатно улыбнулся Бодолин. – Не уважаю в текстах неточности и ошибки, и стало быть, у меня не было поводов появляться у вас...

– А сейчас – что за повод? – спросил я по-прежнему без дружелюбия.

– Не повод, а причина, – сказал Бодолин. – Любопытство. Что за солонка такая?

– Обыкновенная солонка. Птица. По заключению Башкатова, сова. Но отчего-то похожая на Бонапарта. Коллекционный номер солонки – пятьдесят седьмой.

– Пятьдесят седьмой? – удивился Бодолин.

– Ну и что тут такого? – его удивление меня насторожило. – Ну, пятьдесят седьмой!

– Нет, нет, ничего, – замялся Бодолин. И замолчал.

Тут же в комнату, без стука, как в свою, шумно и с запахами светской дамы, способной украшать своим присутствием и приемы, вошла Лана Чупихина.

– Куделин, – сказала она, – по-моему, пришла пора выпить по чашке кофе. Ба, да тут сам маэстро Бодолин. Вы секретничаете? Я вам не помешала?..

– Что вы, Ланочка! – поклонился ей Бодолин. – У нас разговор открытый...

– Да, мы кое-что обсуждаем, – более туманно произнес я. У меня не было нынче желания пить кофе на людях и в компании с Чупихиной.

Лана Чупихина, если не красавица, то, несомненно, женщина обворожительная, была теперь, особенно в сравнениях с новыми штатными дарованиями и стажерами-старшеклассницами, действительно светской дамой, одной из шести-семи местных светских дам, и действительно посещала приемы. Когда же в редакцию заезжали важные гости, Лану приглашали к комплиментарным столам как эстетически совершенное добавление к коньякам, шампанскому, фруктам и интеллектуальным разговорам. Насыщенной прелестями была и вечерняя жизнь Ланы, ее знала вся достойная Москва, с общения на общение она возила себя на кофейной «Волге» богатого и взрослого мужа, отношения с которым у нее, как и у него с ней, сложились декоративно-необязательные. Писала Лана так себе, но красивую женщину, пышнотелую блондинку, редакция могла позволить себе держать и для целей представительских. Я был для Ланы никто, запасной или даже аварийный вариант, она не могла существовать без суеты обожания вокруг нее, без свиты или хотя бы одного кавалера. Сегодня никто не смог сопроводить Чупихину в буфет. Был бы я девицей, она вынудила бы меня составить ей компанию в туалете. Когда-то мы начинали с Ланой в том самом отделе студенческой молодежи. Оба были малоудачливы. Сострадание и жалость друг к другу сблизили нас. Мы чуть не стали друзьями. Мы чуть не стали любовниками. Я, во всяком случае, месяца два ходил влюбленным рыцарем. И Лана будто бы тепло глядела на меня. Но для нее это была игра, пусть и без корысти... Лана смотрела в будущее, а я в этом будущем не виделся даже титулярным советником. Теперь же целевой интерес Ланы к титулярному советнику меня несколько не радовал.

– Лана, – сказал я, – у меня туго со временем, а состояние моего организма требует не кофе, а пива. Вот Дима Бодолин как раз намеревался пить кофе.

– Не скрою, Светлана Анатольевна, намеревался, – быстро согласился Бодолин.

– Очень рада. А этот Куделин-то каков! Зазнался! Нос задрал из-за своей солонки! – воскликнула Чупихина. Она была, я только заметил, в черных колготках, чрезвычайно модных в нынешнем сезоне, но пока редких. – Позволил себе даже увлечься недоступной лахудрой Цыганковой!

– Я слишком далек от нее, – сказал я, – чтобы определить, лахудра она или не лахудра. Но вы-то, может быть, с высот своей светскости не способны углядеть в ней гадкого утенка? Оттого и досадуете на нее...

– Все прелести этого так называемого гадкого утенка, – решительно сказала Чупихина, – состоят в том, что утенок разрешает себе не носить трусы и лифчики!

– Вот тебе раз! – взмахнул руками Бодолин, и можно было понять, что слова его относятся не к Цыганковой, а к неуместности и неприличию обсуждения отсутствующего здесь человека.

И Чупихина поняла это.

Удручавшую всех неловкость разметал Глеб Ахметьев. Он распахнул дверь и вошел в комнату так, будто его ждали, а он опаздывал. Спросил резко:

– Ну и где солонка? Номер ее пятьдесят седьмой?

– Номер ее пятьдесят седьмой, – сказал я. – А сама она у Башкатова. Он ее скоро вернет.

Но Ахметьев уже заметил Бодолина и Чупихину, смутился и замолчал. Те же, напротив, оживились. Я решил помочь Глебу.

– Как там достославный Климент Ефремович? Ворошилов, наш первый офицер...

Костюм Ахметьева, синий в полоску, жилет, бордовый галстук с разводами, бордовый же уголок платка, твердо выглядывавший из верхнего кармана, ботинки, начищенные будто бы негром преклонных годов, изучившим русский язык, подсказывали, что Ахметьев вернулся от одного из памятников.

– Маразматик и дерьмо! Он и в молодости был прохвост, а теперь и вовсе противен! – выругался Ахметьев. – Ладно. Я спешу к Главному. Зайду, расскажу.

«Зайду, расскажу» надо было понимать как «Зайду, поговорим о солонке...»

– Какие у него залысины благородные, – словно бы опомнилась Чупихина. – Как у Радищева...

– Или как у Чаадаева, – добавил Бодолин. Может, съехидничал.

Я все же не помнил, были ли у Чаадаева залысины. Я помнил его высокий лоб. Но ведь и мне иногда при взгляде на Ахметьева приходил на ум Чаадаев.

Я совсем уже было выпроводил Чупихину с Бодолиным к венгерским кофейным аппаратам, как взял и заявился Башкатов с окончательно обследованной им солонкой. Солонку захватили Чупихина с Бодолиным, а Башкатов наклонился ко мне и зашептал:

– У нее и голова отнимается... Подумай над моими заданиями. И не тяни... В ближайшие дни не то еще будет...

– Башкатов, – сказала Чупихина, – я, конечно, не Агата Кристи и тем более не ее старуха Марпл, но и мне очевидно то, что очевидно всем.

– И что же? – поковырялся в носу Башкатов.

– Это же ты все устраиваешь, Башкатов.

– Что все? – удивился Башкатов.

– Всю эту авантюру с фарфоровыми изделиями. И ограбление Куделина подстроил ты.

– Я... – серо-голубые глаза Башкатова расширились чуть ли не в ужасе. – Нас же развозили в тот день в одной машине. Я видела, как ты нервничал. И ты знал, что Куделин был у К. В. и получил солонку. Как один из хранителей Музея ты торчал в доме Кочуй-Броделевича и хорошо изучил его коллекцию...

– Господи, да зачем же мне вся эта авантюра? – недоумевал Башкатов. Но он был растерян.

– А я откуда знаю, Башкатов? – протянула Чупихина. – Всем памятен твой розыгрыш. И Голощапова ты сделал посмешищем, даже двух свидетелей из Америки изготовил... А сбор подписей под некрологом Михалкова, баснописца-громовержца...

– Ну, это на первое апреля, – Башкатов будто оправдывался. – И по большой пьяни...

– Розыгрыш был, конечно, мрачноватый и даже жестокий, – сказал Бодолин, – но изысканный и в своей черноте...

– По пьяни, – повторил Башкатов. – По большой пьяни... А тут я трезв... А с таким же основанием можно подозревать и Ахметьева...

– Ахметьев в тот день не дежурил и ушел с работы часов в восемь...

– Ну и что? Мог позвонить диспетчеру разъездов и узнать, кого и во сколько отправят. С нами в машине ехал его сотрудник Мальцев. А Ахметьев явно озабочен событиями с солонками...

– Ты, Башкатов, в свой сюжет мог включить и Ахметьева, втемашить ему в башку черт-те что, заставить поверить в четырех каких-то убиенных, он и озаботился... Ты и Мальцева мог включить в предприятие... Или они тебе подыгрывают...

– Чупихина, а ты ведь тоже ехала с нами в машине, – сказал Башкатов. – И устроила Куделину засаду в сговоре с К. В.

– Окстись, Башкатов! – всерьез запротестовала Чупихина. – Окстись! Я и не знала, что Куделин ходил к К. В.

– Это еще надо проверить, – строго сказал Башкатов.

– Башкатов, может, ты и развлекаешься! – вновь воскликнула Чупихина. – А может, имеешь при этом и иную цель. Или эту цель тебе навязали внешние силы? Но не вовлекай в свои или чужие игры Куделина. Мы-то ладно, люди ушлые. А он-то простодушный простофиля. Я его беру под свою опеку и в обиду не дам!

– Я не нуждаюсь ни в чем опекунстве! – раздосадованно произнес я.

– Чупихина, а что, у тебя на Куделина особые права? – поинтересовался Башкатов.

– Мы с ним... У нас с ним... – смутилась Чупихина. И, чтобы не допустить ложных толкований, разъяснила: – Мы с Куделиным долго маялись вдвоем в памятном студенческом отделе...

– Скованные одной цепью, – подсказал Бодолин.

– Можно сказать и так, – кивнула Чупихина.

– Мне надоело это глупейшее обсуждение, я пойду, – сказал Башкатов. – Тебе, Куделин, еще придется выслушать некоторые мои слова.

Намерению его удалиться помешала возникшая в дверном проеме лахудра Цыганкова.

Прежде я наблюдал лахудру лишь издали. Ну, не издали. А на расстоянии. Но наблюдал много раз.

Судачили о ней в редакции всяко. На днях я вновь услышал о ней – Сорвиголова и Оторви да брось. Именно про такую, уверяли, поется в известной песне на мотив «Кирпичиков»: «На окраине Роши Марьиной на помойке девчонку нашли. Сперва вы... мыли, потом вы... терли. И опять на помойку снесли». На планерках нередко сетовали: в героях у нас – одни лишь правильные школьники, а где улица, где подворотня, где притоны, где волны сексуальной революции в школе, где неформалы, где хиппари, где прочие, где боль за них, где их голос и их амбиция? И вот сыскали этот голос – некую Цыганкову. Нина Соловьяненко, редактор школьного отдела, всегда привечала парнишек и девчушек, пусть и вскочеченных, пусть и с перевернутыми представлениями об истинных ценностях, но не подлых и умеющих рассказывать об особенностях собственных и своих ровесников. Цыганкова, под псевдонимами, писала заметки (условно – заметки) именно из подворотни, притонов, стоянок хиппарей. Оказалось, что у нее есть слог, нервно-ломаная ее писанина, вроде бы корявая, с грубостями, с неожиданными словечками и сленгом, производила странное действие, но впечатляла свежестью чувств и информации. На моих глазах в большой комнате отдела Цыганкова писала на полу, разлегшись вольно и не обращая внимания на переступавших через нее сотрудников. «Элиза Дулитл!» – пришло мне в голову, я ее пожалел. «Уж не намерен ли ты стать полковником Пикерингом?» – спросил я себя. Мало ли кем я был намерен стать... И кого-то – лицом и движениями – она мне напоминала... Нравственные педанты фыркали при упоминании Цыганковой. И действительно, она выросла на помойке и, видно, не закончила четырех классов, живет в подворотне, курит травку, не может без группового секса, от этой грязной швали надо держаться подальше, иначе заразишься, и неизвестно чем, в газете есть рубрика «Журналист меняет профессию», так вот Цыганкова нырнула в проститутки, готовит «Исповедь блудницы». Ну и что, отвечали им, вы-то от нее не заразились, а газету хватать будут, мы получим гвоздевые публикации.

– Куделин, – сказала Цыганкова, – говорят, ты самый... этот... вундеркинд в газете и щелкаешь кроссворды...

В руке у нее была газета, в другой – ручка.

– Конечно, Юлечка, конечно! – Башкатов в мгновение стал изящным и ласковым рыжим котом. – В кроссвордах он истинный ундервуд и копенгаген!

– Вопрос, – сказала Цыганкова, голос у нее был хриплый, прокуренный, низкий. – Мифическое существо с телом быка, символ чистоты и девственности. Восемь букв. Первая «е».

– Ой, Куделин! Ой, не могу! Это же про тебя! – расхохоталась Чупихина. – Это же надо! В самую точку!

И рыжий кот Башкатов рассмеялся, смех укротить не смог.

– Единорог, – сказал Бодолин. Он тоже развеселился.

– Единорог? Подходит. Куделин, верно, что единорог? – Цыганкова смотрела только на меня.

– Единорог... – выдохнул я. – Верно.

– А что ты такой медлительный? – спросила Цыганкова.

– Девочка, он не только медлительный. Он... – не могла остановиться Чупихина.

– У моей старшей сестры в студенческие годы был знакомый Куделин, – сказала Цыганкова. Она стояла, прислонившись к дверному косяку, изогнув бедро, и словно бы никого в комнате не видела. Кроме меня. Я же глядел на ее ноги в садах, и в голове у меня вертелось глупейшее соображение: «На таких коленях можно написать много шпаргалок».

– Я не помню никакой Цыганковой, – сказал я. – Может, и знакомился, но не помню...

– Тот Куделин с сестрой дружил. Ее зовут Виктория.

– Я не знал никакой Виктории Цыганковой. – Теперь я говорил чуть ли не раздосадованно.

– Я так и подумала, что ты не тот Куделин, – покачала головой Цыганкова. Она по-прежнему смотрела только на меня, отчего мне было не по себе, а все в комнате притихли. – Но я серьезно младше сестры. И она папина дочь, а я – мамина. Когда я получала паспорт, папаша был временно в бегах, и я взяла мамину фамилию. А у отца фамилия – Корабельников...

Так... Еще раз приехали... Викина сестра... Элиза Дулитл! Эта Элиза в шестом классе знала три языка...

– Спасибо за единорога, – сказала Цыганкова. И бросила уходя: – Сестра моя, увы, сейчас не в Москве. Она живет в Англии...

– Она, по-моему, с приветом, – сказала Чупихина ей вслед. – Глаза-то у нее какие!

– Напрасно ты, Лана, – сказал Бодолин. – Глаза у нее очень красивые. И в ее приходе, видимо, был смысл.

А Башкатов стоял опечаленный.

8

Но предсказания его сбывались.

Лишь появился я на следующий день на шестом этаже, услышал: умер Чукреев. Говорили и ахали громко. А шепотом добавляли: перерезал вены, вызвали «скорую», но опоздали.

С Чукреевым, совершенно неприметным мужичком лет сорока (оказалось – сорока четырех), за четыре года я имел всего лишь два мимолетных разговора ни о чем, дела наши никак не пересекались. Должность Чукреев занимал – при произнесении вслух – очень важную. Ответственный секретарь. В действительности же он ничего не значил. Как-то завели в областях по два Первых Секретаря обкома, промышленного и сельского. Сейчас же вскипела всеобщая кампания по раздвоению начальства. У нас в газете в штатном расписании своевременно обнаружился еще один ответственный секретарь. Чукреева на эту должность, курировать сельские темы, выписали из собкоров по Оренбуржью. Журналист он был посредственный и в Москве растерялся (квартиру, правда, получил хорошую, трехкомнатную). Существовавший прежде единственным ответственным секретарем Роберт Степанович Мелкасов, человек честолобивый и хрупко-ранимый, поначалу не реагировал на пребывание рядом, в параллельном измерении, Чукреева. Но потом изобретательно-тонко стал создавать ситуации, из которых вытекало, что труды этого дурака бесполезны для газеты (впрочем, для Роберта Степановича все люди по отдельности и в целом были дураки и его замыслам и талантам лишь мешали). Со временем кампания с двумя секретарями обкомов стала казаться сомнительной, высмеивалась куплетистами Рудаковым и Нечаевым, а Чукреева вытеснили в угол, занимался он какой-то чепухой, оценивал работы собкоров. А и без него существовал отдел собкоровской сети. В общем, в профессиональных делах ему было несладко.

Я был одним из последних, кто узнал о кончине Чукреева, и мне пришлось выслушать несколько версий происшествия с намеками и многозначительными придыханиями. Мне знакомо свойство людей осведомленных получать удовольствие от передачи сведений, удививших их часами раньше, поутру, человеку «проспавшему», обделенному этими сведениями до обеда. Тут сочетались сорочье нетерпение проговориться и желание создать видимость собственной заслуженной посвященности в секреты, «а тебе всего открыть мы не можем». По этому поводу, но существенно более значительному, вспомнился мне октябрьский день шестьдесят четвертого года. А именно – 16 октября. В тот день открывались летние Олимпийские игры в Токио. Меня ввели в олимпийскую бригаду (на сами Игры обычно – по деньгам – посылали двух-трех журналистов, их репортажи и тассовскую информацию обрабатывали, переписывали в Москве люди, собираемые из разных отделов, Марьяна направляли туда стилистом и правщиком, я же пригодился как знаток спортивной статистики, меня определили в надсмотрщики над техническими результатами, следить за точностью циферок – метров, секунд и т. д.). Сидеть нам в редакции предстояло, возможно, до утра, и на работу мы явились в три дня. На нас и навалились. «Вы что, и радио не слушали?» – «А что такое?» – «Никиту сняли!» И началось. И криком, и шепотом: «Переворот! Завтра сажать начнут... Нашу фронду – непременно... Зятя уже погнали...» Что печатать, кроме – черными, жирными буквами – информации о решении Пленума, никто не знал. Нам сказали: забивайте своими олимпийскими материалами хоть три полосы. А что предлагать? В Токио от полной неизвестности растерялись. Руководитель нашей делегации, молодежный вождь, получил телеграмму: «Срочно вылетай, заболела бабушка». И летел через вражеский Сайгон, в аэропорту не выходил из самолета. От наших репортеров мы получили строк тридцать. И тогда умельцы из отдела спорта сотворили отчет страниц на двадцать пять о всем, чего они

не видели, но что в Токио непременно произошло. Пошло в ход и мое досье. В студенческие годы у меня была блажь: собирать вырезки о всяческих спортивных кумирах. Да и свежая, не забитая позднее информацией моя память позволяла мне держать в голове даже и результаты скромнейших забегов в Кудымкаре или на гавайском острове Нуруа. В тот день я оказался в газете не лишним. Тяжче всего бригаде было с подзаголовками темпераментного токийского отчета. Номер вел ехидный Агутин, главный соперник К. В. в чиновничьей толкотне, он потирал руки, К. В. же притих, угнетенный судьбой светлейшего Зятя. Агутин выглядел нервно-возбужденным. Но и он был растерян и, похоже, не сознавал, что будет завтра. А потому все предложенные бригадой аншлаги, выносы в рамки, анонсы сюжетных смыслов и подзаголовки сразу же отметал с руганью: «Вы хотите, чтобы газету завтра разогнали? Что вы суете мне вашу спортивную дребедень – „Победил сильнейший“! Или – „Голиаф одолел Давида“. Или – „У кого провал, у кого золотой бал!“ Что и кого вы имеете в виду? Вы поглядите на первую полосу! А это что? „Ненавидеть врагов – пустое занятие“? Это слова Юрия Власова? Ну пусть Власов и подотрется ими!» Даже простейший и тихий, как замерзающий мухомор в октябрьском лесу, заголовок «Наша первая золотая медаль» и тот был забракован. Прошли слова самые смиренные и фамилии спортсменов рядом с ними, чтобы ни о ком другом и подумать было нельзя. Тот номер я храню... А с ребятами из спортивного отдела я стал ходить в приятелях...

Почему я описал здесь тот октябрьский день? Показалось надобным.

Теперь, стало быть, Чукреев.

Мне захотелось поговорить с Башкатовым. А тот сам углядел меня в коридоре и повлек к себе. Комната его была пуста.

– Ну, – зловеще произнес Башкатов. – Что я говорил?

– При чем здесь Чукреев?

– А при том! При том! – Башкатов приоткрыл дверь, убедился, что за ней никого, дверь прикрыл, остался стоять к ней спиной. – Два дня назад Чукреев был у К. В. на приеме. – И что?

– И то! – Башкатов перешел на шепот. – Никакого фарфорового изделия по окончании разговора К. В. Чукрееву не вручил.

– Если бы я не получил солонку, мне следовало бы вешаться или резать вены?

– Какой ты, Куделин, все же прямолинейный! – поморщился Башкатов. – Но, надеюсь, ты не поверил в версию этой ехидны Чупихиной?

– А что К. В., – спросил я, – мог наговорить Чукрееву такого, что тот расхотел жить?

– Не знаю, – сказал Башкатов. – Может, что и наговорил. Но вряд ли беды Чукреева были в его интересах. Чукреев раздражал Мелкасова, но был ставленником Агутина, то есть на этом инструменте К. В. мог бы выводить и собственные рулады... Да, Куделин, а что ты валял дурака, делая вид, что незнаком с Цыганковой?

– Я видел ее пятиклассницей три или четыре раза, – сухо сказал я. – Теперь я ее не узнал.

– А со старшей сестрой, Корабельниковой в девичестве...

– Да, – помолчав, сказал я. – Я дружил с ней.

– Корабельников – фамилия громкая. – Башкатов отправил палец в ноздрю. – А я знаю, стало быть, мужа этой неизвестной мне Виктории, хлыща-дипломата, который нынче в Англии...

– Не имею чести...

– Где тебе, – согласился Башкатов. – А я и не рад, что имел честь. Сука порядочная...

А как уязвила-то тебя Цыганкова Единорогом! Я ж тебе говорил: держись от нее подальше.

– Это мое дело, – сказал я. – И я с ней не общаюсь.

– Вот и хорошо, – сказал Башкатов. – И не мешай мне. У меня на Цыганкову виды. Пусть и временные.

– И это при жене и двух дочерях?

– Ты, Куделин, – рассмеялся Башкатов, – истинно – Единорог! Впрочем, такие блаженные болваны особенно опасны. К сожалению, во всем. Как эта Вика Корабельникова предпочла тебе карьерного циника? Или она такая же шальная, как ее младшая сестренка?.. И что в тебе увидел К. В.? А он что-то увидел или узнал. Тебе неведом К. В. И ты не знаешь, что он видит в тебе. И я не знаю этого... Кстати, ты лебезил перед ним?

– Я? Лебезил... – растерялся я. – Это, может быть, ты когда-нибудь лебезил перед ним? Оттого и спрашиваешь?

– Да, лебезил. И не раз. Такая подлая натура, – сказал Башкатов. – Все. Перейдем к делу. В том, что ты напряг своих архивистов по поводу родов Кочуй-Броделевича и Ахметьева, я не сомневаюсь.

Верно. Я рассказал историю с солонкой и коллекцией Кочуй-Броделевича Алферову и Городничему, те засверкали очами. Озадачивать ли их родовым древом Ахметьева, я долго не решался. Одно дело откапывать дворянские корни покойника, другое дело – соваться в судьбу процветающего молодого человека, ему-то знанием исторических подробностей можно было и навредить. Но в конце концов я рассказал Алферову с Городничим и про Ахметьева («А что он морочит мне голову четырьмя убиенными?»), взяв с них слово: никаких невыгодных Ахметьеву мелочей в воздухе не выпускать. Кому нужно, те и сами, о ком пожелают, все добудут.

– А не размышлял ли ты, Куделин, – сказал Башкатов, – отчего и Ахметьева, и Бодолина заинтересовало то обстоятельство, что номер твоей солонки пятьдесят седьмой?

– Владислав Антонович, а не кажется ли тебе, что кто-то намерен всеми этими солонками с их номерами подтолкнуть кого-то, предположим, что нас с тобой, а может, и не нас с тобой, а еще кого-то, подтолкнуть к банальности – двенадцать стульев, голубой карбункул, рождественский гусь и так далее? Неизвестно зачем. Как неизвестно зачем ты обращаешь мое внимание на другую банальность: старшая сестра, младшая сестра, хлыщ-муж, увезший старшую сестру в Англию...

– За многими тайнами, – вздохнул Башкатов, – укрывались банальности. Или простые случаи.

– И что же ты полагаешь делать дальше с этими солонками?

– Не знаю. Пока не знаю... Пока ходы не наши. Да мы ведь и не игроки, а зрители. Будем поджидать ходы главных игроков. Терпение, терпение...

– Говорят, Чукреев оставил какое-то письмо...

– Я не знаю его текста... Я не член редколлегии... Тебя небось сунут в похоронную команду, не отказывайся... Может, чего и услышишь... А Цыганкову надо уберечь от ее дурацких увлечений. – Твое дело, – сказал я. – Мне ее увлечения неизвестны.

9

Нельзя сказать, чтобы разговор с Башкатовым нечто мне прояснил.

Мои сомнения по поводу самого Башкатова и его участия в приключениях солонок никоим образом не были отменены. И слова Чупихиной я не забыл. Надо было только обтолковать, какие туманы он подпустил сегодня, если подпустил, и чем все-таки я был ценен ему в его расследованиях или его авантюрах.

Про Цыганкову я ему не врал. Относительно не врал. А если и врал, то прежде всего – самому себе.

Действительно, в общении с ней я не вступал. И не был намерен вступать. И ощущал опасность, какую необходимо было избежать.

Отец поучал меня редко. Но несколько раз я слышал от него выстраданное: «Не суйся туда, куда не следует соваться», обращенное скорее к самому себе, а уж потом к сыну, то есть ко мне, и к жене, моей матери. Я знал, чем были вызваны эти слова, помнил чувства, с какими они произносились, они были истинными. Но мое понимание опасностей и пределов приближения к ним существовало само по себе, как нечто единичное, собственное, воспитанное во мне зуботычинами жизни, потерями душевного покоя, укорами чести, выбрасываниями меня из устойчивости мироощущений в грязи и несоответствия идеалам. При этом опасности были разные. Иные из них могли и увлечь в свои омуты.

Скажем, совершенно не следовало мне соваться в историю с солонками. Но звенело во мне (пока) бесшабашное: «А-а! Что будет, то будет!», и опасность представлялась воздушной, надбытовой, заманивающей, подобно опасности спортивной: «Ключки наголо! И на лед!» И я был уверен, что всегда сумею, коли будет нужда, ушмыгнуть от засад и разбойников через улицу и в проходные дворы. Но в случае с Цыганковой ушмыгивания и проходные дворы были невозможны. Происходили уже в моей жизни и ушмыгивания, и проходные дворы. Сейчас любое общение с Цыганковой, пусть и самое прохладно-протокольное, могло привести к возвращению в прошлое. Нет, и не к возвращению, а, что еще хуже, к повторению прошлого.

Но повторение это вышло бы односторонним. Лахудра Цыганкова явилась ко мне с расчетом и домашней заготовкой. Ну, кроссворд с единорогом она, скорее всего, притащила и не заготовленный, а горячий, с пылу с жару, это не меняло сути. Разговора со мной, хотя бы и немного, она ждала, возможно, долго и нетерпеливо. Мифологический персонаж способен был лишь подтолкнуть ее к действию. Свидетели, скорее всего оказавшиеся лишними, помешали ей высказаться определеннее. С чем явилась ко мне Юлия Ивановна? Перчатку ли она бросила мне, объявив войну? Отмщение ли назначила за сестру или уже произвела его, высказав мне свое брезгливо-презрительное отношение прилюдно? (Вот и свидетели оказались хороши.) Мне не дано этого было понять. Что слышала обо мне Юла-Юлька от своей старшей сестры (я и вправду видел Юлу раза три, ну побольше, и запомнил ее ехидно-вредной соплячкой), что нафантазировала сама, какие предположения выстроила о моих значениях в судьбе ее сестры, любила ли она старшую («папину дочку») или не переносила ее, кто она сама: фурия или ангел (глазато лучистые, ангельские, но не кроткие) или падший ангел? Обо всем об этом я хотел бы знать. Но положил себе: ничего не признавать. Особенно от Цыганковой. Я должен был от нее шарахаться («Чур! Чур меня!») и не откликаться ни на одну из ее реплик.

Но шарахаться необходимости не возникало. Мы нигде не сталкивались с Цыганковой. Она, видимо, забыла обо мне. Исполнила долговременно лелеемое, унизила меня, пощечину влепила при свидетелях, и все? «Неужели все?» – сокрушался я. Эти сокрушения разозлили меня. Что за бред (с пощечиной) я выстраиваю и о чем сокрушаюсь? Я сейчас же, чтоб

отвлечься от моих сокрушений, вернулся к мыслям о не высказанном в разговоре с Башкатовым. Если каша заварена, то заварил ее прежде всего Кочуй-Броделевич! Его коллекция! Какие-то ее тайны. Что случилось с самим Кочуй-Броделевичем? От чего он умер? Почему его смерть иные называли неожиданной? Кто его враги? Какие коллекционеры строили ему козни? И наверняка среди них были такие, кто сам подбирался к собранию Броделевича или части его. Хитрец Башкатов, возможно, многое вызнал, но от меня утаивает. Коли что добудут Алферов с Городничим, придется устраивать с Башкатовым обмен сведениями. И надо заняться Светой Рюминой. Она как будто бы приветлива со мной. Башкатов объявил ее глупой и неучем, бранил ее за то, что она поверхностно отнеслась к коллекции и судьбе Броделевича. Но очень может быть, что он говорил мне неправду.

Позвонили. К себе вызывал комсорг Дима Трощенко. Причина вызова была мне ясна. Я пообещал: «Сейчас». Сам же вырвал листок из блокнота и набросал: «1. Кочуй-Броделевич. Тайна коллекции. Или тайна, неизвестная ему самому, но упрятанная в коллекции: драгоценности, шифр, карта клада, важные для кого-то документы и др. 2. Есть ли у Кочуй-Броделевича наследники, и если есть, что им досталось и что они хотели получить. 3. Коллекционеры, их интриги и интересы. 4. Не арестовывали ли кого из родственников Броделевича в 17 или 37, и не сунул ли один из них при аресте в солонку бумаги или вещи. 5. Скворцова...»

Опять звонок. «Куделин, долго тебя ждать!» Я схватил сумку из-под стола, сунул только что исписанный листок в один из бутсов за стельку и отбыл к комсоргу Трощенко. Как и предполагал ведун и старец Башкатов, меня назначили в похоронную команду. В нее обычно вгоняли самых младостажных и малозначительных работников редакции, но физически надежных. На этот раз со мной в части команды оказались Мальцев (этот – «значительный, но без году неделя»), юморист-оптимист Резвенников и стажер Алексашин. Нам полагалось утром быть на кладбище в Царицыне, присматривать, чтобы могильщики все делали как надо и вовремя, а в случае чего трясти перед директором кладбища удостоверениями, а когда подъедет процессия, нести гроб.

Я уже сообщал, что знал Чукреева плохо, то есть вообще не знал как человека, он был мне чужой, а за четыре года я привык хоронить взрослых или старых сотрудников, которых я тоже почти не знал и очень смутно ведал об их судьбах. При этом я не раз, как и мои ровесники, коим было поручено носить гроб или венки, испытывал чувства, требующие осуждения, но, увы, дававшие даже радость. Мы хоронили, это печально, вокруг смерть и тлен, но мы-то молоды и здоровы, послезавтра у нас матч с «Культурой», и мы будем жить долго, всегда, а судьба не сложится такой бесцветно-бедной, как у ныне погребаемых или отданных огню. Конечно, вечером каждому из нас было муторно и хотелось напиться. Какими бы мы ни были молодцами днем, как бы ни хорохорились, смерть есть смерть, зрелище погребения человека и соучастие в нем, сами знаете прекрасно, вызывает в каждом мысли, пусть и не объявленные словами, о высоком и неизбежном. И о собственной греховной мелкости. Но что я опять докучаю Вам банальностями...

Когда процессия из двух автобусов, ритуального и для сопровождающих, прибыла с панихиды на кладбище, могила была приготовлена. Процессия показалась жалкой. Чукреев был номенклатурой. Провожать его по протоколу обязаны были чины с Новой и Старой площадей. Они не явились. Не приехал и ни один из членов редколлегии. Самыми значащими людьми на похоронах были замзавы отделов. А так вокруг могилы тихо жались обычные наши редакционные сострадалницы из отдела писем и Группы Жалоб да незнакомые мне люди, возможно родственники Чукреева и его внеслужебные приятели. Выходило, что своим уходом из жизни Чукреев провинился, учинил структурам, в которых он должен был пребывать ответственным служакой, непозволительный подвох и теперь получал перед сырой глиной заслуженный прощальный выговор. Речи произносились примятые, двусмысленные, и в них и во взглядах слушателей отражалось смятение.

Было жарко. Я стоял среди провожающих взмокший, в темном пиджаке и рубаше, но уже освобожденный от работ. И опять ко мне приходили мысли, которых следовало бы стыдиться. Среди прочего мне, исполняя совет Башкатова, надо было бы из настроений и реплик провожающих Чукреева добыть полезные для нашего расследования сведения. На поминки, куда звали и где по русской традиции многое могло бы открыться, я не пошел, там бы я чувствовал себя определенно шпионом. А на кладбище и в автобусе мне удалось составить такие представления.

Бабы никакой не было. Чукреев в этом деле вообще был не смел. Но, может, отсутствие бабы его и угнетало. А как работника его доконали. Поставили за чужой станок. Письмо он оставил, но его изъяли. Служебный или партийный выговор объявлен на панихиде и на кладбище, но считайте, что и не Чукрееву, а Главному редактору. Чукреева ему теперь вставят в строку. Но на него дуются давно. К К. В. же претензий как будто бы нет...

Ни про какую невыданную солонку не говорили.

Вернувшись в редакцию, я хотел было найти Башкатова. Но выяснилось: он уехал на квартиру Чукреева, поминать.

На следующий день долго не поднимали полос из типографии. У меня было время, и я отправился посидеть на Часе интересного письма.

Редакция получала тысячу писем в день. Иногда больше, иногда меньше. Иные из них прочитывались мельком. По существующей тогда практике, вызванной причинами, мягко сказать, формальнодемагогическими, что сознавалось и в ту пору, и обговоренными ласковым дедушкой Калининым, всенародным газетчиком номер два, тексты всех пресс-изданий делились на «сорок процентов» и на «шестьдесят процентов». Сорок – это личные, подписные публикации штатных бумагомарак. Шестьдесят – это трубный и правдивый голос народа, письма трудящихся и статьи людей самых разных земных специальностей, выражающих мнение общества (статьи эти сочиняли опять же штатные работники, деньги за них по государственной установке платили фиктивным авторам, то есть народу, и все это называлось проклятушкой «отработкой» или журналистским оброком). А вот письма публиковались – подлинные, со страстями людей, с их слезами, с их отчаянием, с их общественной выучкой и их блажью (сам блажил, участвуя в читательских дискуссиях, но искренне блажил, зацепило...). Газете верили, а потому ей исповедовались и били челом в надежде, что она возьмет под свой покров, беды развеет, житейские проблемы остудит, а душу убожит. Большинство писем не публиковали, и не только из-за нехватки места, а из-за того, что многие письма были «не для газеты», то есть касались тем, обсуждать которые было как бы неприятно или даже неприлично. Попросту говоря, тем, неписано запрещенных или не рекомендованных к публичному толкованию, дабы не возбудить мнения в обществе. Письма эти, понятно, не сжигались, им давали служебный ход и по ним принимали меры, для этого держали в штате Группу Жалоб, в ней служили юристы. Но определение судьбы письма (и судьбы его автора) нередко было спорным. А потому и решили раз в неделю устраивать Час интересного письма, куда обязаны были приходиться первые перья и умы, выслушивать письма, отобранные Свежим глазом (опять же дежурными читчиками почтового потока из разных отделов), и думать, как с ними поступать.

На эти чтения приглашались «все желающие». Порой ходил на них и я. Иногда скучал, иногда открывал рот, иногда готов был орать: «Доколе будем терпеть такие безобразия!» Нынче Свежим глазом был назначен Денис Миханчишин, а он мог уготовить и развлечения. Этот шепутной парнишка в газету попал из агрономов Кустанайской области, прозвище имел Пострел, писал он именно что бойко, но ситуации выкапывал каверзные и непривычные для очеркистов-ветеранов, а в своих размышлениях подходил к ним «не с того боку», то есть по-своему и без расхожей морали.

Все сидели вялые, не расположенные ни к шуткам, ни к проявлению амбиций. Нынче общую подавленность объяснили бы магнитной бурей. Миханчишин, верткий, худой, костлявый, в очочках, подвязанных к левому уху веревочкой, а возможно, шнурком для ботинок (дурачился), в дешевом мятом костюме (презрение к московским франтам, или москочитам), был похож скорее и не на агронома, а на регистратора ветеринарного пункта. Он объявил сразу, что прочтет пять писем из почты последней недели и из них самое важное – «Исповедь импотента». Ожидаемого Миханчишиним оживления не последовало, вялость или даже сумеречность собравшихся развеять он не смог. Это Миханчишину не понравилось. Он любил дерзить и даже хамить (никого не боится, поговаривали: оттого, что ради него сверху, с каштановых деревьев, коли надо, свесится большая лохматая лапа...).

– Ну что же, – сказал Миханчишин. – Поскучаем вместе. Неудивительно, что полусонность присуща и нашей газете.

Он словно бы не знал о вчерашних похоронах Чукреева.

Одно из писем, зачитанных Миханчишиным, было о пожаре на молодежной ферме, произошедшем по причине пьянки. Уникальности в пожаре не было никакой, но особенность имела. Ферма три года жила со знаменем «Коллектив коммунистического труда» и в области слыла передовой. Журить же публично ударников комтруда, тем более что порождены они были почти десять лет назад именно нашей газетой, как бы не полагалось, и мне стал понятен сюжет Миханчишина.

– Денис, это же вашего отдела тема! Вы и пишите про этот случай. С анализом проблемы.

– Да чего писать-то! – тут же нашелся благоразумный. – Зачем движение-то чернить? Случай, он и есть случай. Послать копию письма в обком комсомола, пусть разберутся, накажут кого следует...

– Вот! Вот! – обрадовался Миханчишин. – Мы потому и вынесли письмо на обсуждение, знали, знали! Это и не благоразумие, а трусость, и мы этого ждали!

– Что ждать-то? Поезжайте на место и пишите!

– Как же! – еще более радостно заявил Миханчишин. – А на статью потом наложат резолюцию: «Очернение движения». Если все так смелы, проголосуем и примем решение: «Одобрить разработку темы».

Проголосовали. Одобрили. Смелости никакой не потребовалось, спрашивать с ныне собравшихся никто не стал бы. Миханчишин же миролюбию сборища обрадован не был. Не возникло поводов для едких реплик и уколов, бичующих зарвавшихся на московских харчах конформистов. Два следующих письма были связаны с нарушениями техники безопасности на транспорте. Оба случая чуть ли не привели к катастрофам с людскими жертвами. Опять же о казусах в гражданском воздушном флоте и на железных дорогах со скверными обстоятельствами рассказывать, мягко сказать, не поощрялось. Дабы не вызвать страхов перед полетами и занятием мест на полках. И дабы не было поводов усомниться в надежности государственных служб. И все помнили, что верховная досада висит над нашим Главным из-за статьи о происшествии на транспортном средстве Черноморского пароходства (впрочем, там дело было в нарушении газетой краеугольной дисциплины и партийного чиностроения, малявки огрызнулись на старших). И все же уколы Миханчишина своего достигли. Письма о самолетах и поездах вызвали дебаты с перебранками. В конце концов сошлись на мнении: одно из писем, взяв его под контроль, пустить во внутреннее расследование, второе же, рельсо-вагонное, опубликовать с комментариями. Башкатов сидел недалеко от меня, помалкивая и ухмыляясь, он-то ведал про космос такое, что и в голову не могло прийти знатокам аэропланов и колесной тяги.

Четвертое письмо Миханчишин явно приглядел для забавы, и содержало оно коренной вопрос дискуссии во взводе воинов Забайкальского орденосного округа. Дискуссию

вызвало заявление одного из ефрейторов со ссылкой на журнал, название коего ефрейтор запомнил, о том, что скорость блохи превышает скорость ягуара. Ученые изучали прыжки блохи, даже и не вызванные испугом или мерами предосторожности, и были удивлены их скоростными характеристиками. Оппоненты ефрейтора стояли на том, что в лучшем случае блоха способна перебежать дворнягу, а никак не ягуара. И то если дворнягу не кусают другие блохи.

– Отдайте Башкатову, – слышались советы. – Пусть пошлет в Забайкалье обстоятельный ответ с математическими выкладками.

– Э, нет! – не согласился Миханчишин. – Дискуссия солдат лишь на первый взгляд требует математических выкладок. Я же вижу в ней возможности для столкновения нравственных позиций. Я чувствую, что стою на трибуне морального ристалища. Я ожидаю обогащения нашей газеты десятками тысяч писем. Я предлагаю отдать документ в отдел писем и обязать его провести очередной «Форум наших читателей».

Поднялся заведующий отделом писем Яков Львович Вайнштейн, войну прошедший фронтовым корреспондентом.

– Благодарим Дениса Миханчишина, – сказал Вайнштейн, – за сострадание к трудам нашего отдела. Непонятно только, чем привлек внимание Дениса сегодня именно наш отдел. Денис любит паясничать, но нынче у нас не капуста. К сведению Дениса, как работник пожилой, могу лишь сообщить, что отчего-то проблема скорости передвижения блохи лет двадцать как окрашивает солдатский досуг. Подобные письма приходят каждый год со всех, пожалуй, округов...

– Мы берем это письмо, – сказал Серега Топилин, спортивный отдел по традиции занимался армейскими темами.

Все ожидали громкого несогласия Миханчишина, но он спокойно передал письмо Топилину, рассудив, что ссориться со спортсменами ему не резон, но скорее всего посчитав, что номер с блохами отработан и пора переходить к «Исповеди импотента».

Тут в зал, словно бы поджидавшая в коридоре и теперь подчинившаяся условленному знаку, втекла шумная четверка слушателей, среди них и Цыганкова. Я напрягся, вцепился пальцами в сиденье стула, будто ожидая скандала, стать свидетелем которого мне было бы неприятно. Все смотрели на вошедших и прежде всего, как мне казалось, на Цыганкову. Она вошла в юбке сантиметров на двадцать выше колен. Но юбка есть юбка, а редакция наша молодежная. Вот если бы Цыганкова позволила себе появиться в брюках (или тем более в шортах), ей бы указали на дверь. Было видно, что Цыганкова вместе с тремя своими ровесниками готовы были усестись на пол, но пустых стульев стояло много, и четверо разместились на стульях.

10

А Миханчишин уже потряхивал синей тетрадью.

Обложка ее была выгоревшей, – возможно, тетрадь вылеживалась в хозяйстве автора с его школьных времен. В страницах, расчерченных в линейку, буквы бежали крупные, важные, очень старательно выведенные. Автору записей Обтекушину С. Ф. было тридцать восемь лет, и служил он техником-газовщиком в одной из московских коммунальных контор.

– Тридцать восемь лет! Не наш возраст. Нечего и обсуждать! – послышались голоса.

– Текст касается всех возрастов, – резко сказал Миханчишин. – Вот послушайте...

– Да ты что, Миханчишин! – возроптали недовольные. – Всю тетрадь, что ли, намерен читать? Какой же это, прости, будет Час интересного письма? Зачти выжимки! Или изложи суть в пять минут.

– Вот! – опять обрадовался Миханчишин и пальцем ткнул в выси. – Я и предполагал, что людям, утонувшим в пропагандистских и теоретических распрях, будет неприятно слышать о подробностях жизни, которые заставят их думать о собственной, подстерегающей их импотенции или об уже импотенции состоявшейся...

Юнцы зашумели, засмеялись (в сторону Цыганковой я так и не глядел), на них сейчас же зашикали, напоминая, где они сидят. Но Миханчишина шиканье, естественно, не остановило.

Теперь я жалею, что не попросил наших машинисток снять и для меня копию с письма С. Обтекушина. Некоторые сделали это. И сам по себе документ был ярок. И сейчас, коли бы я привел отрывки из него, они произвели бы куда более явное впечатление, нежели мой пересказ сути письма.

Никакой «Исповедью импотента» письмо Обтекушина назвать было нельзя. Сам Обтекушин слово «импотент» не употреблял. Может быть, он и не знал такого слова. Зато знал много бытовых человеческих слов и свое житейское простодушие искреннего, как бы теперь сказали, старомодно воспитанного, отчасти беспомощного человека этими словами передавал. Жаль, что у меня их нет под руками. И в голове.

Суть же истории газового техника была такая. Женился он десять лет назад. За эти десять лет он переспал с женой считанное число раз. Да, в конце концов он стал считать эти разы или случаи. То есть на постели они лежали с женой почти каждую ночь, исключая эпизоды ее командировок, но по-настоящему он спал с ней, исполняя благородный долг супруга, редко. Выражений «занимался любовью» и уж тем более «занимался сексом» в тексте Обтекушина не было, слово «секс» тогда вообще принадлежало враждебному нам образу жизни и не удивительно оно было лишь в устах мелкобуржуазного перерожденца... Правда, поначалу в семье Обтекушиных все шло неплохо. Был медовый месяц, и они с женой не обращали внимания на других людей в комнате, порой и целый день. Не раздражали их и шутки, советы и поддразнивания, даже и спортивного характера. Случались и летние выезды к родственникам в деревню, там, в особенности на сеновалах, они переживали удовольствия семейного счастья. Но кончились медовые дни и сеновалы. А Обтекушин с женой стали стесняться. И стесняются они уже семь с половиной лет. В последние годы жизнь их проходила особенно тяжело, и если раз в месяц им удавалось исполнить супружеский долг, то и хорошо.

Следовали описания случаев, когда акт любви вот-вот должен был произойти, но что-то ему мешало. Скажем, родители специально уходили из дома и уводили младших детей, якобы в кино, Обтекушин с женой уже и в ванне помылись, предупрежденные родителями, и, успев приласкать друг друга, сбрасывали одежду и белье, и тут в дверь их комнаты начал ломиться пьяный сосед и требовать «Советский спорт», будто уворованный Обтекуши-

ным: «Верни, Обтекушин, „Спорт“, иначе ноги переломаяю!» И не было возможности утихомирить соседа. Да и желание у Обтекушина иссякало. В других случаях нечто мешало им любить друг друга в квартирах знакомых, где им отводили комнату с койкой на час, на полчаса или на меньшее время. То – пятна на простынях, а со своим бельем ходить в чужие дома было бы нескладно. То – запахи жареной мойвы, какие жена Обтекушина не переносила, да и самого Обтекушина в такие мгновения тошнило от рыбьего жира. То – драка в соседней комнате, вынудившая явиться милиционеров, Обтекушины же забыли взять с собой паспорта. То всего лишь голодное попискивание под дверью котенка.

Обтекушины даже пытались выстроить в семейной комнате клетушку из фанеры, два с половиной на два. Но уединения в ней вышли сомнительными, свободных наслаждений не дали – звуки проходили сквозь фанеру, пусть и оклеенную обоями, и негодница Сонька, младшая сестра жены, пацанка тринадцати лет, проделала в фанере глазок. И ее можно было понять. Самого автора письма в возрасте десяти лет ребяташки водили на третий этаж их дома и за рубль давали посмотреть, что делают мужики с проституткой тетей Настей.

Пробовали Обтекушины снять комнату, не вышло из-за нехватки денег. Иногда потребность в близости с женой (а у нее с ним) случалась такая нестерпимая, что они ходили постанывая в ожидании, что комната станет свободной хоть на три минуты (Обтекушин готов был даже порезать себя чем-нибудь или обжечь, чтобы болью отменить охоту). Бросались и на чердак и там соединялись под балками, под веревками с чьими-то стираными подштанниками, стоя, почти не раздеваясь. В теплые ночи ходили в углы двора, пока их с одной из скамеек не согнали визгливые, наглые псы, выпущенные на прогулку. Приятели Обтекушина по работе, каким он по простоте душевной открывал свою маяту, кто со словечками, кто с ухмылками понимания (сами жили не легче) советовали облегчать томление организма с помощью Дуньки Кулаковой. «Только руки меняй!» – громыхали при этом. Занятие это казалось Обтекушину дурным. Но в их квартире и призывать на помощь Дуньку Кулакову было делом трудновыполнимым. В ванную вечно возникала очередь, а над дверцей ее имелось оконце, куда любая ехидна могла заглянуть. В тесноте сырого, загаженного туалета, в особенности при поломке смывного бачка, не было возможностей для возбуждающих видений, томление организма приходилось снимать лишь тупым действием. А в дверь могли и постучать. Да и вдруг просто за дверью кто-то стоял и догадывался? Каково это было для тихой, стеснительной натуры Обтекушина. А кончилось все тем, что у старухи Бобковой, вкушавшей болгарскую фасоль в томате, случилось расстройство, и она стала чуть ли не головой пробивать место в туалете. Обтекушин выскочил в коридор. Ему было противно. Омерзительно было.

После этого Обтекушин запил. Но выпивки и даже запойные недели облегчения ему не дали. И он сознавал, что облегчения искал лишь себе, оставляя жену в одиночестве, это было нехорошо, он ее любил и жалел. А потому он сносил обиды и попреки от нее, лишь дважды бил жену, и то не бил, а ударял, то есть после одного нанесенного удара не продолжал свирепствовать, а готов был просить прощения. Он носил в себе вину перед Любой. Ее досады, порой матерно выражаемые, Обтекушин понимал, шли и оттого, что у них нет ни парнишки, ни дочурки. В медовые месяцы они предохранялись, полагая, что им пока не до детей. А теперь при близком сопении других и тем более на чердаке или на дворовой скамейке никого не могли зародить. Обтекушин, уговорив стыд, ходил к врачам, но ничто не помогало. Кончилось все печально, Люба стала изменять ему, в чем призналась сама, не утаив подробностей. «Да лучше я на работе (Люба служила конторщицей на „Трехгорной мануфактуре“), на столе, среди бумаг и калькуляторов, чем с тобой, недотепой, на чердаке под кальсонами Аверьянова!» А там у нее появился хахаль с отдельным ключом (все же при пересказе письма Обтекушина я употреблял и его выражения, вспомнились...).

Все ждали последних слов письма. И выяснилось, что Обтекушин ни о чем не просил. И ничего не требовал. Просто он любил свою жену и хотел бы объясниться с ней, но сделать это ему было стыдно. Тогда он и взял старенькую тетрадь в линейку. Люба же читать его исповедь отказалась, заявив, что у них уже ничего не выйдет, ну поплачет она над тетрадкой, но ничего уже не выйдет, лучше бы он завел себе женщину. Но Обтекушин вспоминал старуху Бобкову у двери туалета, и мысли о заведении женщины были ему противны. Отсюда, видно, и рассмотрел Миханчишин в авторе письма импотента. Будучи давним читателем нашей газеты и уважая ее, Обтекушин решил отправить свою «писанину» (его слова) нам. Сам не зная зачем...

– Вот и все, – сказал Миханчишин вяло, будто устал.

– Ты, Миханчишин, подлец! – встал Глеб Ахметьев, ранее мной не замеченный. – Человек страдал, душу излил, ища понимания. А ты его ради своей прихоти попытался превратить в посмешище!

– Вы, Глеб Аскольдович, – растерялся Миханчишин, – вы, конечно, канцлер... Но насчет подлеца-то... Не хотели бы вы взять свои слова обратно? – Я повторяю, Миханчишин, ты – подлец, – уже тише и холодно произнес Ахметьев.

– Этак я и удовлетворения могу потребовать. – Миханчишин пробовал рассмеяться, очки с ботиночным шнурком стянул с переносицы. – Но каковы условия-то будут? Кулаками махать мы, пожалуй, не мастаки. А насчет стрелкового оружия, то я в Кустанае охотничал...

– Все ваши условия будут для меня хороши, – сказал Ахметьев и направился было к двери.

– Эх, Глеб Аскольдович, Глеб Аскольдович! – остановил его Миханчишин. – Благородно ли вы поступаете? Разве мы с вами на равных? Кто я? Шут! Писака без царя в голове! Взгляд на меня справедливо – косой... А вы – с царем в голове. И вы – у царей голова. Сейчас вас позовут на какую-нибудь ближнюю или дальнюю дачу, вы там слово отольтете, и меня солью посыпят, как молочного поросенка.

– Более мне нечего сказать, присылайте секундантов, – и Глеб Ахметьев удалился.

– Миханчишин, дайте-ка письмо, – и старик Вайнштейн взял из рук Дениса синюю тетрадь, – оно расписано в наш отдел.

– Пожалуйста... Но я не хотел никого обидеть, – стал вдруг оправдываться Миханчишин. – Ни автора, ни собравшихся... И скандала не хотел... Просто желал вызвать свежий взгляд на проблему...

Я чуть было не пустил в ход правую руку, но посчитал, что для моей руки Миханчишин запретительно невесом и тщедушен. Да и после слов Ахметьева мое действие могло быть признано глупейшей и запоздалой выходкой.

– Буду очень удивлен, если отыщутся для тебя секунданты.

– А ты-то еще что? – обернулся Миханчишин, скривился, в глазах его читалось: «Фу, а это-то ничтожество что лезет?» – Ты небось крысишься на меня из-за этой... из-за Цыганковой?

Я прошел мимо Миханчишина.

В коридоре продолжали толковать о случившемся. Не все бранили Миханчишина, на взгляд иных, пусть он и в эксцентричной форме, может быть, как раз именно эксцентрикой заставил задуматься над жизнью серого человека, не романтического героя с ударных строек, а соседа каждого из нас. «А то мы о них не помним!» – отвечали им. «А каково он заявил про Ахметьева-то! Про царя-то в его голове!» – восторгался кто-то. Две дамы из Группы Жалоб обогнали меня: «У Цыганковой-то этой под юбкой ничего не было! Ты видела? Она как взвизгнула, ноги подтянула...» При чтении письма были случаи, когда смеялись и даже взвизгивали, но я, если помните, не позволял себе смотреть в сторону Цыганковой. Неужели были поводы и для ее смеха?

Печально, что я навязываю Вам свои настроения, но ходил я в тот день удрученным, размышлял о скверностях жизни и не желал возвращаться домой. Думал же я не о Миханчишине с Ахметьевым (ни в какую дуэль я, естественно, не верил, слово названо – и достаточно), ни о Цыганковой, ни даже об Обтекушине, а о своих родителях, хлебопеке Кирсанове и его жене.

Кирсановы были соседями, жили в квартире номер три на нашей же лестничной площадке. Мишка Кирсанов учился со мной в одном классе. Верка, сестра его, была годом старше, Васек, мой тезка, отстал от Мишки на семь лет. На пятерых им было отпущено шестнадцать метров (всего же в их квартире, без удобств, на сорока двух метрах жило четырнадцать человек). Мы по сравнению с Кирсановыми были буржуи. Трое (моя старшая сестра давно вышла замуж за летчика и полковницей проживала в Приполярье) – и пятнадцать метров! (Отец – инвалид войны и пр., но эти-то наши просторы и мешали отцу получить жилье в райисполкоме, а он, зная положение тех же Кирсановых, не слишком и выбивал улучшение.) А в тот день я осознал, что и моим старикам, и Кирсанову с женой жилось ничем не лучше, чем бедолаге Обтекушину. И они были старомодно воспитаны. И мои родители, тогда они и не были никакими стариками, я учился в четвертом классе, выстраивали в комнате ширму, отец сваривал металлические трубы, обтягивал их толстой обивочной материей, говорил матушке довольно: «Ну вот, Надежда, у нас теперь и опочивальня...» Матушка же косилась на меня, ворчала полушепотом: «Ну что несешь, дурачок, при ребенке-то...» Помню ночные шумы, скрипы и стоны. И утренние опасливо-виноватые поглядывания на меня. Помню визиты к нам Кирсановых, перешептывания отцов или матерей словно бы в темных углах, а за ними выгулы меня и ребятни Кирсановых под присмотром моих родителей в кино или парк ЦДКА в Самарском переулке. Помню перебранки на весь двор в обычно мирной семье Кирсановых. Верка требовала купить ей пианино. Мирра Наумовна, одна из соседок по квартире, пианистка с консерваторским образованием, сын ее Артем уже мучил скрипку, услышала в Верке способности (теперь Верка – хормейстер). Хлебопек Кирсанов (знаменитая пекарня на Сретенке у Просвирина переулка), трезвенник, розовый колобок, деньги имел, Мирру Наумовну уважал и купил инструмент. Как же кричала Кирсаниха при воздвижении пианино (второго в квартире) в их комнату: «Что ты творишь! Кабыздох недожаренный! А нам с тобой теперь на этой черной крышке, что ли...? Или чаще Куделиным в ножки кланяться?» Видимо, и кланялись. Меня с кирсановским молодняком не реже отправляли в «Форум», «Уран» и в парки. Стеснения отца с матушкой, Кирсановых, неловкости их бытия до меня, конечно, доходили. Но для меня они были из разряда, как теперь говорят: «Это их трудности». Что я понимал, идиот? Ну, нехорошо, тяжело, но ведь все так живут, в наших домах по крайней мере. Главное, чтобы не было войны. Сыты, обуты, а вот у Кокошкиных дети бегают в рваной обуви. Я мечтал о велосипеде. Но в семье нашей не сыскалось денег на велосипед. Ничего, я вырос и без велосипеда. Отсутствие собственной конуры меня пока не удручало. К тому же меня призывали жить аскетом, презирать быт, канареек в клетке, цветы герани на подоконнике. Сочувствие же к неловкостям существования отца с матерью было все же умственным, а если принять во внимание мои годы, и высокомерным. Со мной-то все будет по-иному...

Теперь же на Часе интересного письма меня словно бы зашили в шкуру отца и хлебопека Кирсанова. И надо мной смеялись. И я почувствовал, что главной скверностью в жизни отца (и матушки, и Кирсановых) было не томление организма (оно-то могло приносить и радость), а томление стыда. Любить тела друг друга им приходилось с ощущением стыда. Вся их любовь была сплошным стыдом, сплошным срамным делом! Стоило ли так жить? Но жили, жили!

А мое-то успокоение самого себя: «Со мной все будет по-иному»? Блажь простака, плавающего в киселе из лепестков роз! Сколько раз Вика Корабельникова уговаривала меня

пригласить ее в Солодовников переулоч. И даже познакомиться ее с моими родителями. Ни разу не подвел я ее к своему дому. Мне было стыдно за наш дом. Но выходило, что я стыдился и своих родителей.

Понятно, не одни лишь чувство стыда и уязвленность гордыни привели к нашему с Викой разрыву. Я почувствовал опасность и неизбежность лишней для меня кабалы. «Не суйся, куда не следует...» И я ожег себя раскаленным железом. Я перестал встречаться с Викой и не отвечал на ее звонки. Я будто бы завел другую... Значит, не было любви. Она бы смела все. Спалила бы и меня.

Но способен ли я на любовь?..

Я уже сообщал, что снять копию с синей тетради не попросил. Было бы тогда в этом что-то неприличное. Но адрес Обтекушина я записал. Сам не знаю зачем.

Оказалось, что живет Обтекушин недалеко от меня, на полдороге от моего дома в газету, а именно в переулках Октябрьской (бывшей Александровской) улицы, за МИИТом. И очень может быть, мы с ним где-нибудь встречались – в магазине, на Минаевском рынке, в бане или у бочки с квасом.

Ну, встречались, оборвал я свои соображения, ну и что!

Поднявшись в Бюро Проверки, я услышал от Зинаиды Евстафиевны неожиданное. Завтра я должен явиться в редакцию к десяти утра. Разъяснений не последовало. А я спрашивать о чем-либо начальницу не стал.

11

В десять утра Зинаида уже сидела в своем кабинете и держала в руке, к моему удивлению, томно-розовый том Жорж Санд, к сему автору она, как помнилось, относилась чуть ли не с фырканьем: «Ей бы наши заботы!»

– Дел-то у нас, Василий, – сказала начальница, – часов до трех, как всегда, не будет. Почитай что-нибудь развлекательное. Но комнаты своей не покидай.

– Это отчего же? – удивился я.

– Будут вызывать, – сказала Зинаида.

– Куда? И зачем?

– Узнаешь...

– И вас будут вызывать?

– Мое дело прошлое, – мрачно сказала Зинаида. – Не ерзай и не нервничай. Не одного тебя, надо полагать, будут вызывать. В этом деле нет ничего особенного. И фингал свой можешь не занавешивать. Он почти и выцвел... Что бы это значило? Кому я понадобился? В военкомат я являлся, как идиот, в назначенные повестками минуты (как выяснилось позже, таких дурацки добросовестных офицеров запаса было мало). Никакими провинностями я не мог обрадовать участкового, местного благодетеля Анискина, и уж тем паче отделение милиции. Или вдруг кто-нибудь сочинил жалобу на меня, но не на Масловку, а куда-нибудь ближе к Кремлю? Сосед Чашкин мог. О гражданских безобразиях по месту жительства...

Я взял в библиотеке том «Падения царского режима», но и показания Вырубовой (правда, читанные мной не раз) не смогли отвлечь меня от паскудных соображений.

Встал и побрел в кабинет начальницы.

– Зинаида Евстафиевна, – сказал я, – вот вы тоже маетесь бездельем. Взяли бы и поведали мне историю тридцать девятого года. Как наш удалец, то ли Волгин, то ли Енисеев, стал Героем Советского Союза по списку Берии.

– Все и не по списку Берии, – протянула Зинаида, не глядя на меня, – а по списку полярников, но будто бы по просьбе Берии...

Она сейчас же спохватилась:

– Ты что, Куделин? Что ты себе позволяешь? Почему ты придумал спрашивать о Деснине именно меня?

– Все уверены, что вы знаете об этой истории лучше других...

– Кто тебе сказал такую чушь? Небось этот прощельга Комаровский! Он только и умеет, что сажать футболистов! Ты, Василий, более никогда не спрашивай меня об этом.

– Вы, Зинаида Евстафиевна, добрейший по сути человек, а гремите, как Манефа у Островского. Хоть фамилию услышал – Деснин. А то все Волгин или Енисеев...

– Я сейчас тебе такую Манефу покажу, паршивец! Истинно Глумов! Простоты в тебе много, а мудрости – заметка курсивом. Вон в свою комнату и сидеть в ней, пока не вызовут!

Теперь я взял в библиотеке (она у нас была богатейшей) подшивки за месяц «Советского спорта». Но все эти голы, шайбы, сицилианские защиты, маты в четыре хода отлетали от меня вслед за фрейлиной Вырубовой и редактором-секретарем следственной комиссии Александром Блоком, не нуждающимся еще в пайках. Да что это лезет мне в голову, отчего именно сегодня я поперся к Зинаиде с интересом к истории Героя-самозванца тридцать девятого года, обманувшего Берию (хоть фамилию узнал, надо полистать довоенные подшивки газет, не наткнулся ли я в них на корреспонденции Деснина?).

Я попробовал вернуться мыслями к Обтекушину. Неужели он впрямь жил таким бесхитростным, каким выглядел в письме? Неужели не был способен на выдумки и ухищрения? А я, что ли, способен на выдумки и ухищрения? Такой же придурок!.. Но стал бы я

составлять временной график пребывания людей – хозяев и гостей – в комнате родителей жены? Нет, до такого занудства я вряд ли дошел бы. Но до своего занудства дошел бы... А как смаковал интонациями график декламатор Миханчишин!

Сидеть мне надоело, я спустился в буфет. Взял кофе, на пиво мелочи у меня не хватало. Но я увидел, что Петя Желудев, истовый пивник, пьет кефир, будто опасается огорчить какого-либо собеседника вызывающим размышления запахом. «И его, что ли, будут вызывать?» – задумался я. Предчувствие какой-то дряни и ледяной неизбежности коснулось меня. И тут я ощутил, как я одинок и на шестом, и на седьмом этажах, и во всем здании архитектора Голосова. И посоветоваться или поделиться своей тоской мне было не с кем. Не с Цыганковой же. Пожалуй, один Марьин был мне сейчас, неизвестно почему, близок, я спросил бы его кое о чем, но я не нашел Марьина. В пустоте коридора шестого этажа я углядел Башкатова, он несся с бумагами к двери машинописного бюро.

– Пусто и тихо вокруг, – сказал я. – С чего бы это?

– Доктор Пилюлькин зубы рвет, – рассмеялся Башкатов, он что-то жевал, крошки полетели из его рта.

– А чему ты радуешься?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.